Э.В. Будаев, А.П. Чудинов
Екатеринбург – Нижний Тагил

«Metaphors We Live by» как прецедентное название

В современной науке трудно найти книгу, влияние которой оказало бы столь значимое влияние на становление когнитивной методологии научного исследования, как классическая работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона “Metaphors We Live by” [1980], заглавие которой обычно переводят как «Метафоры, которыми мы живем». Как справедливо отмечает А.Н. Баранов, названная книга очень быстро была признана специалистами «библией когнитивного подхода к метафоре – своеобразным аналогом соссюровского «Курса общей лингвистики» в когнитивизме лингвистического извода» [Баранов 2004: 7]. В этой книге представлена теория концептуальной метафоры, согласно которой метафора является не просто средством украшения речи, а представляет собой когнитивный процесс взаимодействия между структурами знаний двух концептуальных доменов – сферы-источника и сферы-мишени. В результате однонаправленной метафорической проекции сформировавшиеся в результате взаимодействия человека с окружающим миром элементы сферы-источника структурируют более сложную для осознания концептуальную сферу-мишень.

Многообразие современных исследований по концептуальной метафоре свидетельствует о все возрастающем интересе к теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Утверждение о том, что концептуальные метафоры охватывают всю сферу человеческого опыта и обладают значимым когнитивным потенциалом, на сегодняшний момент подкрепляется многочисленными исследованиями концептуальной метафоры, характерной для самых различных сфер человеческой деятельности. Среди ученых даже сложилась своеобразная «мода» называть научные работы по образцу классической монографии Дж. Лакоффа и М.Джонсона. Интертекстуальные аллюзии на названия научных работ время от времени встречаются в научном дискурсе, но в случае с книгой Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We Live by» это явление получило небывалое распространение. В настоящей статье речь

пойдет о разнообразных трансформациях заглавия указанной книги, которые обнаруживаются в названиях 40 других публикаций.

Предварительные наблюдения показывают, что интертекстуальные трансформации рассматриваемого названия фокусируются на всех четырех компонентах источникового заголовка: существительном *metaphors*, местоимении *we,* глаголе *live* и (в меньшей степени) предлоге *by*. Соответственно варьируется смысл названия. В одних случаях речь идет метафорах, которые характерны лишь для отдельных социумов, в других – о различных сферах функционирования метафор (обучение, реклама, экономика и др.), в третьих – проблематика выходит за пределы метафорологии.

1. Когнитивные картины мира отдельных социумов.

В названии монографии М. Джонсона и Дж. Лакоффа местоимение ***we*** имеет максимально широкий смысл: в данном случае МЫ – это люди вообще, а не американцы, мужчины, преподаватели или либералы. Во многих других названиях трансформация местоимения призвана подчеркнуть ориентированность на конкретные социумы. Например, П. Мюльхейслер отмечает, что в западной лингвистике уделяется мало внимания фактору межкультурных различий, в результате чего преобладают исследования метафор в европейских языках и дискурсах. Местоимение в названии данной статьи «Metaphors ***others*** live by» («Метафоры, которыми живут другие») [Mühlhäusler 1995] подчеркивает ее обращенность к метафорам, относящимся к иным языкам и культурам. В статье финского исследователя Т. Пало [Palo 1993] рассматриваются метафоры, использовавшиеся в советском политическом дискурсе периода «путча». В данном случае местоимение третьего лица также призвано акцентировать межнациональные различия «Metaphors **They** Live By» («Метафоры, которыми они живут»).

Второй вариант трансформации состоит в том, что местоимение заменяется существительным, которое способно более точно обозначить того, кто «живет» соответствующими метафорами. Указанное существительное может обозначать группу людей, объединяемых определенным видом

профессиональной деятельности. Например, в статье Д. МакКлоски рассмотрены метафоры, «которыми живут экономисты» («Metaphors ***economists*** live by») [MacCloskey1995], а исследование метафор, принятых среди биологов, отражено в названии статьи Р. Теммерман: «Metaphors ***the life sciences*** live by» («Метафоры, которыми живут науки о жизни»).

Разумеется, профессия не единственный способ группировки субъектов метафорогенеза. Например, в статье П. Друлака использован географический критерий ограничения круга коммуникантов: «Metaphors ***Europe*** Lives by» («Метафоры, которыми живет Европа») [Drulák 2004]. В заглавии публикации П.Ф. Мерфи «Metaphors ***Men*** Live by» («Метафоры, которыми живут мужчины») [Murphy 2001] акцентирован гендерный критерий: автор показывает, что в речи мужчин при обсуждении вопросов, связанных с дружбой и сексуальными отношениями, доминируют метафоры войны, механизма, спорта и работы. В статье М. Хирага «Metaphors ***Japanese Women*** Live by» («Метафоры, которыми живут японские женщины») параллельно актуализированы гендерный и национальный критерии [Hiraga 1991].

Еще один вариант исследуемой трансформации состоит в преобразовании субъектно-предикатной конструкции в инфинитивную, в результате чего подлежащее оказывается совершенно ненужным. Примером такой трансформации может служить название статьи А. Фиенап-Риордан: «Clearing the Path: Metaphors to Live by in Yup'ik Eskimo Oral Tradition» («Расчищая тропу: метафоры, которыми живут, согласно устной традиции эскимосов юпика») [Fienup-Riordan 1994].

2. Сфера функционирования метафор.

При трансформации глагола-сказуемого акцентируются особенности функционирования метафор. Рассматриваемые трансформации могут быть связаны с изменением грамматических признаков (и особенно модальности), с заменой сказуемого *live* на глагол другой семантики и параллельной трансформацией лексических и грамматических признаков.

Примером трансформации грамматических свойств предиката может служить название статьи «Metaphors We

Shouldn't Live by» («Метафоры, которыми не следует жить») [Adamson et al. 1995]. В этой публикации широко известные американские лингвисты-когнитологи провели исследование метафор в идиолекте влиятельного политика-консерватора Р. Лимбау и выявили, что ведущие метафорические модели несут крайне негативные смыслы («СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА – ЭТО ВОЙНА», «ОБЩЕСТВО – ЭТО СЕМЬЯ СВИНЕЙ», «ЛИБЕРАЛЫ – ЭТО ПРЕСТУПНИКИ», «АМЕРИКА – ЭТО БОЛЬНОЙ»). Название данной статьи воспринимается как своеобразный лозунг, как призыв к выработке компромиссного, основанного на диалоге подхода к решению политических проблем, который устраивал бы и либералов и консерваторов.

Значительно чаще в рассматриваемой конструкции вместо глагола *live* используются обозначения других действий. Такая трансформация позволяет указать конкретную сферу использования концептуальной метафоры. Например, исследование Дж. Тейлора посвящено метафорам, которые используются в сфере обслуживания. Специфику данной проблематики в полной мере отражает название «Metaphors We ***Serve*** By» («Метафоры, которыми мы обслуживаем») [Taylor www]. Трансформация указывает на то, что автор опирается на теорию концептуальной метафоры и применяет теорию при исследовании концептов, связанных со сферой услуг.

В названии статьи Е. Эль Рефайе [El Refaie 2001], посвященной исследованию метафорического представления курдов-иммигрантов, ищущих убежища в Европе, когнитивный подход совмещается с критическим дискурс-анализом, что уже предугадывается по названию научной публикации: «Metaphors We ***Discriminate*** by» («Метафоры, которыми мы дискриминируем»). Исследуя осмысление иммиграции в австрийских газетах 1998 года (в этот период иммиграция значительно усилилась), Е. Эль Рефайе выявляет, что доминантные метафоры изображают курдов, как нахлынувшую водную стихию, как преступников, как армию вторжения. Регулярная апелляция к этим образам во всех исследованных газетах представляется показателем того, что «метафоры,

которыми мы дискриминируем» [El Refaie 2001: 352], стали восприниматься как естественный способ описания ситуации.

В диссертации Н. Бреннер «Metaphors We ***Kill*** by» («Метафоры, которыми мы убиваем») [Brenner 2005] исследуются милитарные метафоры, задействованные в доктрине армии США. Как показывает автор, сфера-источник «Война» оказывается доминирующим способом осмысления концептов в сферах-мишенях, не связанных напрямую с военной деятельностью.

С. Торнбери рассматривает вопрос о том, как знание о метафорическом представлении преподавания в сознании действующих педагогов можно использовать в программе подготовки будущих учителей, что отразилось в заголовке как «Metaphors We ***Work*** by» («Метафоры, с которыми мы работаем») [Thornbury 1991].

Множество исследований при ограниченности сфер практической деятельности приводит к тому, что в заголовках научных статей появляются однотипные трансформации. К примеру, интертекстуальная трансформация «Metaphors We ***Compute*** by» («Метафоры, с которыми мы работаем на компьютере) использована и в исследовании Т. Ропера [Rohrer 1995], и в публикации Дж. Лолера [Lawler 1987/1995]. При этом автор более позднего исследования никак не проявляет своего знакомства с работой предшественника.

Во многих публикациях использование нового глагола сопровождается одновременным преобразованием грамматических свойств.

Примером может служить интертекстуальная трансформация в статье Д. Понтеротто: «Metaphors we ***can learn*** by» («Метафоры, которыми мы можем научить») [Ponterotto 1994]. По мнению автора, одна из проблем в обучении/изучении иностранных языков – это понимание метафор. Хотя компетенцию в сфере вторичной номинации относят к продвинутому уровню владения иностранным языком, Д. Понтеротто связывает трудности осмысления метафор с недостаточным вниманием учителей к этому вопросу, с отсутствием соответствующих методических разработок. Знакомство с теорией концептуальной метафоры, по мнению

автора, должно позволить изучающему иностранный язык понимать незнакомые образы, которые по существу представляют собой трансформации базовой метафоры.

Прагматический аспект метафорики эколого-экономического дискурса отразился в публикации Р. Норгарда. Фиксируя важную роль метафор в концептуализации еще одной сферы человеческой деятельности, автор использует интертекстуальную трансформацию: «Metaphors we ***might survive*** by» («Метафоры, с которыми мы могли бы выжить») [Norgaard 1995].

В заголовке публикации Дж. Мейера «Metaphors We ***(Still) Teach*** by (?)» («Метафоры, которыми мы (все еще) учим (?)») используется не только замена знаменательного глагола, но и изменение модальности всей фразы, поскольку автор использует риторический вопрос. Исследователь выявил ведущие метафоры и, отметив их традиционность, призвал к поиску новых способов осмысления действительности. В этой статье отразились и когнитивно-семантические и прагматические аспекты исследования педагогической метафорики [Mayher 2003].

Следующая группа публикаций с трансформацией глагола-сказуемого посвящена проблемам обозначения тех или иных концептов. Например, в исследовании Х. Тиссари [Tissari 2001] «Metaphors We ***Love*** by» («Метафоры, которыми мы любим») анализируются способы метафорического представления концепта LOVE в английском языке с XV по XX вв. Отметим также, что в диссертации С. Озчалискана [Özçaliskan 2002] трансформация «Metaphors We ***Move*** by» связана с сопоставительным анализом метафор передвижения в английском и турецком языках.

В некоторых публикациях применяется одновременная трансформация двух рассматриваемых элементов. Примером может служить интертекстуальная референция в названии диссертации Р. Стоукс: «The metaphors ***they become literate*** by» («Метафоры, с которыми они становятся грамотными) [Stokes 1995]. В этом названии наблюдается замена местоимения, использование в сказуемом иного знаменательного глагола (*literate*) и изменение грамматических свойств сказуемого (*they be-*

come literate). В данной статье Р. Стоукс рассмотрела метафоры, используемые в образовательном процессе для концептуализации концепта literacy (грамотность, умение читать и писать). Автор отмечает превалирование онтологических и структурных метафор над ориентационными и советует преподавателям выявлять доминирующие метафоры своих студентов, чтобы знать, способствуют ли эти метафоры эффективному процессу обучения чтению и письму или препятствуют ему. Таким образом, интертекстуальная референция позволила автору указать на методологию исследования, на сферу применения эвристик этой методологии и отчасти на круг субъектов дискурса.

3. Неметафорологические исследования.

Популярность теории концептуальной метафоры давно вышла за рамки лингвистики, а название книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона нередко используется при исследовании смежных с метафорой феноменов. Вполне закономерно, что в этом случае интертекстуальной трансформации подвергается слово *metaphors*, указывающее на объект исследования.

Результатом такой трансформации является, в частности, название книги по антропологии «***The Myths*** We Live By» («Мифы, которыми мы живем») [Midgley 2003]. Такую же трансформацию обнаруживаем в названии исторического исследования Дж. Гиллиса «***The Myths and Rituals*** We Live by» («Мифы и ритуалы, которыми мы живем») [Gillis 2002].

Интертекстуальная референция на книгу Дж. Лакоффа и М. Джонсона обнаруживается и в названии книги Л. Монк «The ***Words*** We Live By» («Слова, которыми мы живем») [Monk 2003]. Автор проводит детальный анализ статей американской конституции, освещает историю ее интерпретации, а с помощью интертекстуальной трансформации подчеркивает важность и актуальность своего исследования для жизни каждого американца.

Заголовки рассматриваемого типа использованы в исследованиях по психотерапии: «***Stories*** We Live By» («Сюжеты, которыми мы живем») [McAdams 1993] и «***Six Archetypes*** We Live By» («Шесть архетипов, которыми мы живем») [Pearson 1998].

4. Трансформация отношений между «метафорами» и их адресантами.

Представляется, что среди компонентов названия рассматриваемой книги наименее подвержен трансформациям предлог *by*, можно предположить, что он служит едва ли не главным маркером интертекстуальной референции. Изменение предлога заставляет сомневаться в наличии интертекстуальной референции, особенно если автор не упоминает Дж. Лакоффа и М. Джонсона и не использует когнитивную методологию. Например, несмотря на наличие нескольких весьма показательных элементов, присутствующих в «Metaphors We Live by», сложно усмотреть интертекстуальную трансформацию в следующем заголовке: «The Reflective Life: Character and the Values We Live With» («Жизнь в рефлексии: Характер и ценности, с которыми мы живем») [Tiberius 2003]. Трудно с полной достоверностью предположить, что соответствующие межтекстовые связи возникают и в сознании большинства читателей, которые обращаются к статье К.А. Андреевой под названием «Метафоры, которые нам так близки, но так оригинальны и поэтичны» [2005]. С другой стороны, в статье Л.М. Алексеевой под названием «Метафоры, которые мы выбираем (опыт описания индивидуальной концептосферы)» [2002] речь идет об индивидуальных метафорах, свойственных идиостилю Е.С. Кубряковой. Следует подчеркнуть, что весьма символично использование трансформированной цитаты из названия когнитивного исследования при характеристике идиостиля признанного лидера российской когнитивистики.

5. Конкретизация смысла исходной конструкции.

Еще один вариант использования в заголовках рассматриваемого прецедентного высказывания – это его расширение за счет включения в заголовок разного рода уточнений. Одним из вариантов такого уточнения может быть включение в структуру исходного названия разного рода дополнительных компонентов. Например, в статье В. Эггингтон «***The English language*** metaphors we plan by» [Eggington 1997] речь идет не просто о метафорах, а о «метафорах английского языка».

Значительно чаще для уточнения смысла соответствующей конструкции в заголовок включаются дополнительные компоненты, оформленные как автономные предложения. Примерами могут служить, в частности, следующие названия: «Green grammar and grammatical metaphor, or Language and the myth of power, or Metaphors we die by» («Зеленая грамматика и грамматическая метафора, или Язык и миф о власти, или Метафоры, с которыми мы умираем») [Goatly 1996], «Metaphors They Live by: Metaphorical Expressions in the Context of the Soviet Crisis 1991» («Метафоры, которыми они живут: Метафорические выражения в контексте советского кризиса 1991 г.») [Palo 1993], «Metaphors we kill by: Rhetoric and Conceptual Structure in U.S. Army Doctrine» («Метафоры, которыми мы убиваем: Риторическая и концептуальная структура в доктрине армии США») [Brenner 2005] и др.

Как видно из примеров, расширение используется наряду с рассмотренными выше трансформациями элементов названия книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Вместе с тем расширение с полным правом можно считать отдельным видом трансформации, так как возможны варианты, при которых оно является единственным маркером отличия заголовка от источникового названия. В качестве примера можно привести заголовок статьи, посвященной исследованию концептуальных метафор в ирландском языке: «Metaphors We Live by: ***Some examples from Donegal Irish***» («Метафоры, которыми мы живем: некоторые примеры из ирландского языка в районе Донегола») [Ó Laoire 2000].

Дистинктивная функция расширения в полной мере реализуется в уже трансформированных заголовках, что можно проследить при сопоставлении следующих названий: «Lies We Live by: ***The Art of Self-Deception***» («Ложь, которой мы живем: искусство самообмана») [Giannetti 2000], «Lies We Live by: ***Defeating Double-Talk and Deception in Advertising, Politics, and the Media***» («Ложь, которой мы живем: борьба с лицемерной болтовней и обманом в рекламе, политике и СМИ») [Hausman 2000].

Наконец, расширение позволяет не только детализировать сферу применения когнитивной методологии или обособить

определенное исследование от других изысканий с аналогичными трансформациями, но и предоставляет возможность для использования дополнительных интертекстуальных референций, что невозможно при других типах трансформаций. Примером может служить заголовок исследования С. Ромейн, изучившей концептуальные метафоры в дискуссиях по проблемам биологической вариативности и глобального потепления: «War and Peace in the Global Greenhouse: Metaphors We Die By» («Война и мир в глобальной теплице: Метафоры, с которыми мы умираем») [Romaine 1996].

Обзор публикаций, в названиях которых присутствует трансформированная цитата из М. Джонсона и Дж. Лакоффа можно продолжить. Разумеется, в настоящей статье рассмотрены далеко не все возможные классификации таких названий. И конечно, в библиографическом разделе нашей статьи указаны далеко не все публикации, в названиях которых представлены соответствующие компоненты. Однако материалы настоящей статьи вполне позволяют сделать вывод о высокой частотности соответствующих заголовков и значительном разнообразии используемых видов трансформации.

Примечательно, что новые компоненты в большинстве рассматриваемых научных заголовков относятся к компонентам в названии книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона как гипонимы к гиперонимам. Разработав теоретические основы когнитивной теории метафоры, авторы фундаментального труда подобрали название, которое оказалось удобной моделью для заголовков более частных, практических исследований. Интертекстуальные трансформации позволяют автору уже в заголовке отразить приверженность когнитивной методологии и вместе с тем указать на новую сферу применения когнитивных эвристик.

Литература

Алексеева Л.М. Метафоры, которые мы выбираем (опыт описания индивидуальной концептосферы) // С любовью к языку. Сборник научных трудов. Посвящается Е.С. Кубряковой. – Москва – Воронеж, 2002.

Андреева К.А. Метафоры, которые нам так близки, но так оригинальны и поэтичны // Новая Россия: новые явления в языке и в науке о языке: материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 14-16 апр. 2005 г. – Екатеринбург, 2005.

Баранов А.Н. Предисловие редактора. Когнитивная теория метафоры почти 20 лет спустя // Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Едиториал УРСС, 2004.

Adamson T., Johnson G., Rohrer T., Lam H. Metaphors we ought not live by: Rush Limbaugh in the Age of Cognitive Science // http://philosophy.uoregon.edu /metaphor/rush.htm – 1998.

Brenner N. Metaphors We Kill by: Rhetoric and Conceptual Structure in U.S. Army Doctrine: Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. – College Park: University of Maryland, 2005.

Drulák P. Metaphors Europe Lives by: Language and Institutional Change of the European Union. EUI Working Papers, SPS No. 2004/15 // www.arena.uio.no/events – 2004.

Eggington W. The English language metaphors we plan by // Language Policy: Dominant English, Pluralist Challenges. – Amsterdam: John Benjamins, 1997.

El Refaie E. Metaphors we discriminate by: Naturalized themes in Austrian newspaper articles about asylum seekers // Journal of Sociolinguistics. – 2001. – Vol. 5. – № 3.

Fienup-Riordan A. Clearing the path: metaphors to live by in Yup'ik Eskimo oral tradition // The American Indian Quarterly. – 1994. – Vol. 18. – № 1.

Goatly A. Green grammar and grammatical metaphor, or Language and the myth of power, or Metaphors we die by // Journal of Pragmatics. – 1996. – Vol. 25. – № 4.

Giannetti E. Lies We Live by: The Art of Self-Deception. – Bloomsbury Pub Ltd, 2000.

Gillis J. R. Our Imagined Families: The Myths and Rituals We Live by // http://www.marial.emory.edu/pdfs/wp007_02.pdf – 2002.

Hausman C. Lies We Live by: Defeating Double-Talk and Deception in Advertising, Politics, and the Media. – London: Routledge, 2000.

Hiraga M. K. Metaphors Japanese Women Live By // The Working Papers on Language, Gender and Sexism. – 1991. – Vol. 1.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Lawler J.M. Metaphors We Compute By // http://www. virtualschool.edu/mon/Academia/Metaphors.html – 1987/1995**.**

MacCloskey D.N. Metaphors economists live by // Social research. – 1995. – Vol. 62 (2).

Maglio P.P., Matlock T. Metaphors we surf the web by // http:// www.almaden.ibm.com/cs/people/pmaglio/pubs/meta4surf.ps– 1998**.**

Mayher J. S. Metaphors We (Still) Teach By (?) **//** English in Australia**. –** 2003. – № 136.

McAdams D. P. Stories We Live By. – New York: The Guilford Press, 1993.

Midgley M. The Myths We Live By. – London/New York: Routledge, 2003.

Monk L. The Words We Live By: Your Annotated Guide to the Constitution. – New York: Hyperion Books, 2003.

Murphy P. F. Studs, Tools, and the Family Jewels: Metaphors Men Live By. – Madison: University of Wisconsin Press, 2001.

Mühlhäusler P. Metaphors others live by // Language and Communication. – 1995. – Vol. 15(3).

Norgaard R. B. Metaphors we might survive by // Ecological Economics. –1995. – Vol. 15.(2).

Özçaliskan S. Metaphors we move by: A crosslinguistic-developmental analysis of metaphorical motion events in English and Turkish: PhD in Developmental Psychology. – Berkeley: University of California, 2002.

Ó Laoire L. Metaphors We live by: Some examples from Donegal Irish// http://www.humnet.ucla.edu /humnet/celtic – 2000**.**

Palo T. Metaphors They Live By: Metaphorical Expressions in the Context of the Soviet Crisis 1991 // SKY: The Yearbook of the Linguistic Association of Finland. – 1993. – Vol. 9.

Pearson C. S. The Hero Within: Six Archetypes We Live By: Ph. D. – San Francisco: Harper San Francisco, 1998.

Ponterotto D. Metaphors we can learn by: How insights from cognitive linguistic research can improve the teaching/learning of figurative language // Forum. – 1994. – Vol. 32(3).

Rohrer T. Metaphors We Compute by: Bringing Magic into Interface Design //http://www.uoregon.edu/~uophil/metaphor– 1995.

Romaine S. War and Peace in the Global Greenhouse: Metaphors We Die By // Metaphor and Symbol. – 1996. – Vol. 11 (3).

Stokes R. The metaphors they become literate by: Peer tutors as undergraduate readers and writers. – Madison: University of Wisconsin, 1995.

Taylor J. Metaphors We Serve By: Critical and Constructive Play with the Discourses on Service, National Service, and Service-Learning // http://www.umbc.edu/llc/diss/Joby_Taylor_diss.pdf**.**

Temmerman R. Metaphors the life sciences live by // Translation and Meaning. – 2001. – Part 5.

Thornbury S. Metaphors we work by: EFL and its metaphors // English Language Teaching Journal. – 1991. – Vol. 45(3).

Tiberius V. The Reflective Life: Character and the Values We Live With //http://www.scotsphil.org.uk/ TiberiusReflective LifeCh1 – 2003**.**

Tissari H. Metaphors we love by: On the cognitive metaphors of LOVE from the 15th century to the present // Studia Anglica Posnaniensia: International review of English Studies.– 2001.– V.36.

©Будаев Э.В., 2007
©Чудинов А.П., 2007

И.М. Волчкова, Э.А. Лазарева
Екатеринбург

Конкретно-образная визуализация как свойство профессионального восприятия

Социальная дифференциация современного общества привела к тому, что подавляющее большинство членов социума строит свои отношения с окружающим миром на основе психологически простейшей диады «вещь - её изображение». Для производства информационного блока мы меньше пользуемся вербальным, словесным, каналом, чем визуальными (видимыми) средствами. Известно, что социально адаптированный человек сегодня живет в мире «клиповой культуры», в мире окружающих его изображений, картин, фотографий, таблиц, схем, графиков, диаграмм. Данная ситуация является следствием во многом отказа (вольного или невольного) от чтения как способа формирования образа на основе восприятия книжного произведения. Возникает явление,

при котором визуальный код расшифровывается легче, чем вербальный, что провоцирует формирование наивной картины мира с помощью «картинки». Этим объясняется факт добровольного ограничения связей в мире через вербалику.

Данная ситуация имеет характер всеобщий, затрагивает все сферы структурированного социума и не может восприниматься как положительный факт, поскольку обедняет наше представление о мире. Но в то же время существуют области деятельности, в которых подобная визуализация коммуникативного пространства и психологически, и социально легитимизирована и существует на основе особого способа организации восприятия действительности, который нами назван «стилевой креолизацией».

Этот термин означает коммуникативное качество личности, воспринимающей окружающее через его образную конкретизацию. Так же, через визуальные образы, и происходит профессиональная деятельность архитектора. В профессиональной сфере архитектора постоянно присутствует визуализация как способ освоения окружающего мира: создать проект здания – значит представить его изображение, рисунок, чертеж. Определить местонахождение объекта – значит прежде всего изобразить (нарисовать, сфотографировать), представить «вид» окружения. Можно сказать, что в профессиональной коммуникации зодчего особенно важно соотношение абстрактного и конкретного. «Вербализация через широкую визуализацию» - так можно кратко сформулировать суть анализируемого подхода к действиям профессионала. Человек, действующий в области архитектуры, формирует особый тип восприятия действительности, обладает специфическими свойствами интерпретации окружающего, освоения знаний. Профессиональная деятельность, существование на собственном профессиональном коммуникативном пространстве определяют своеобразные черты личности профессионала-коммуникатора, обусловливающие освоения окружающего мира.

В предложенном нами словосочетании присутствует термин «креолизованный». Согласно теории Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова [1], развитой Е.Е. Анисимовой [2], сообщение,

заключенное в тексте, может быть представлено вербально (словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно (греч. *eikon*) – изображение). Сочетание вербальных и невербальных, изобразительных, средств передачи информации образует креолизованный (смешанного типа) текст.

Взаимодействуя друг с другом, вербальный и иконический тексты обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный эффект. Иконический компонент текста может быть представлен иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, символическими изображениями, формулами и т.п. Вербальные и изобразительные компоненты связаны на содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-языковом уровне. Предпочтение того или иного типа связи определяется коммуникативным заданием и функциональным назначением креолизованного текста в целом. Более того, вербальный текст в таких случаях становится лишь связующим и вводящим звеном, составляет своеобразную рамку, «упаковочный материал».

Известный теоретик зрительной коммуникации А. Бергер в своей книге «Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию» [3] говорит: «Визуальная коммуникация играет важную роль в жизни каждого человека: все мы, потребители визуальной продукции, смотрим телевизор, читаем газеты, журналы и книги, ходим в кино. Мы живем в “информационном“ обществе, где получаемая информация имеет преимущественно визуальный характер. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал, какое воздействие оказывают визуальные образы на человека и как научиться “читать“ и интерпретировать различные их формы».

Стилевая креолизация проявляется как в процессе обучения будущих архитекторов (магистров архитектуры), так и при создании научных произведений в области архитектуры. Остановимся на некоторых проявлениях этого свойства, с которыми нам довелось столкнуться при работе в архитектурно-художественной академии (УралГАХА). При создании речевого произведения на темы архитектурной критики студенты и магистранты используют конкретные визуальные формы подачи абстрактного образа, абстрактных понятий.

Характеризуя архитектурный объект (здание, перспективу улицы, ансамбль, ландшафтный вид), обучающиеся обязательно представляют его изображение в виде иллюстрации, рисунка, фотографии, графика, схемы. Особым образом подаются абстрактные понятия, например, такие, как пространство, время, традиции и др. – через создание рисованной в компьютерном варианте экспозиции. Соотношение абстрактного и конкретного представлено на клаузуре и макете, которые и являются образным воплощением архитектурного объекта.

Итак, выстраивание макетов, клаузур, комиксов и экспозиций – это все примеры визуализации архитектурного сознания, мышления. Возникает известный феномен метафоризации сознания. При невербальной коммуникации для передачи информации используется весь спектр различных несловесных символов. Визуальные сигналы важны для передачи значений архитектурных объектов и в случае построения текста с использованием словесных и визуальных кодов. В работах У. Эко и Ю. Лотмана (как показано в пособии Ф. Шаркова [4]) отмечается, что в визуальных коммуникациях нельзя вычленить дискретные смыслообразующие элементы. Их компоненты ничего не значат сами по себе, а проявляются лишь в контексте целого произведения. В результате этого конкретный объект приобретает виртуальные формы, оказывается в виртуальном, соотносимом с концепцией автора пространстве.

Остановимся на конкретных примерах. Так, описывая конкретные городские архитектурные здания как артефакты, архитектор прибегает к плоскостному изображению, включающему символы и знаки. Он может представлять данное строение как, например, корабль. Популярный у екатеринбуржцев аквапарк «Лимпопо» в представлении разработчика идеи идентифицируется в виде лайнера, рассекающего водные просторы. Эта идея закреплена в архитектуре здания не только его стилизованной формой, но и цветом. Данная конструкция была определена ожиданиями потребителей, готовых видеть в новом здании нечто необычное, фантастическое, скрашивающее стилистику серых будней горожан. К сожалению, образ корабля, как отмечают специалисты, не получил достаточного художественного

оформления и разочаровал посетителей. Внешний облик аквапарка скучный, монотонный, напоминающий о промышленных массивных сооружениях. Но внутреннее пространство аквапарка, оформленное как сказочный экзотический остров, получило интерпретационный стимул и было одобрено жителями города. Много света, тепла, улыбок, детского смеха – ты как будто оказываешься в райском уголке. Но его надо было найти. «Спрятанный рай» - так назвала свою работу о данном архитектурном объекте магистрантка.

Современная градостроительная ситуация во многом определена постмодернистской концепцией, диктующей особые пространственные композиционные формы и символическое воплощение содержательных элементов. Символизация архитектуры коснулась и нашего города. Люди большую часть своего времени проводят в пространстве города и имеют психологическую взаимосвязь с большим количеством архитектурных фактов. Символическая архитектура имеет достаточно устойчивую позицию в сознании современного потребителя и вызывает психологическое воздействие на человека. Общество (человек как социальный объект) испытывает эстетическое удовольствие или получает негативный заряд от визуального восприятия архитектуры.

Примером такого эстетизированного восприятия может служить клаузура, изображающая известный и популярный у жителей города архитектурный объект, как Торговый центр «Купец» и его продолжение ТЦ «Гринвич» на улице 8-го Марта. Магистрант изобразил данный объект в виде цилиндра, накрытого лопатой, в которых зритель узнает цилиндрический вход в здание с подвесным козырьком. Рисунок получает следующую интерпретацию: фасад торгового центра можно сравнить с декорацией, за которой скрывается что-то неизвестное. Это неизвестное скрыто зеркальными сверкающими, особенно в ночное время, панелями и интригует прохожих, зазывает их войти в здание. Налицо постмодернистский прием игры, в которую втягивается потребитель. Прием обманутого ожидания диктует поведение. Образы «ведра и лопаты» на фоне грандиозного сооружения, блеска, зеркального отражения, многочисленных посетителей

эстетически сниженны, не соответствуют действительному содержательному наполнению архитектурного пространства строения и вызывают положительный психологический эффект. Образ запоминающийся, современный, один из ярчайших визуальных образов в городской среде.

В результате метафорической образной интерпретации архитектурных объектов магистрантами-архитекторами возникла своеобразная местная образная топонимика. Приведем примеры: «От «слепого» пятна к архитектуре» – на примере реконструкции здания «Интурист»; «Китайский повар» меняет профессию – о перепрофилировании комплекса ресторана «Харбин» в торговый интерьерный центр; «Космический корабль» на периферии Екатеринбурга» – о торговом центре «Екатерининский»; «Жесткая оболочка трепетной мысли» – о бизнес-центре «Антей»; «От забора – к интерьеру» – о взаимодействии субкультуры граффити в интерьерах зданий; «Стеклянный колосс в уральских снегах» – о здании Уральского регионального управления перевозками. Эти и многочисленные другие названия работ магистрантов вербально воплощают образное представление объектов и сопровождаются изображениями.

Как видим, стилевая креолизация нашла свое воплощение в органичном совмещении конкретных, чисто архитектурных свойств (форма, цвет, организация пространства, оборудование) данного объекта и образных, на основе вербалики, способов их передачи.

Литература

Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. – М., 1990.

Анисимова Е.Е. О целостности и связности креолизованного текста (к постановке проблемы)// Филологические науки. 1996. №5.

Бергер А.. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. – М., 2005, с. 13-14.

Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. – М., 2004.

©Волчкова И.М., 2007
©Лазарева Э.А., 2007

Н.А. Воробьева
Екатеринбург

Динамика сакрального в русской идиоматике: показания языкового сознания

Анализ функционирования сакральных идиом невозможен без обращения к показаниям языкового сознания носителей литературного языка и говоров. Контексты употребления устойчивых сочетаний, приведенные в словарях, не всегда позволяют сделать вывод, актуальна ли сакральная семантика. Глубина считывания сакрального прецедента, как показывает практика, разная. Семантика сакральной идиоматики многослойна, поверхностный слой связан с профанными (обыденными) ситуациями, хотя уже сам факт выделения

клишированной формулы свидетельствует о прагматической значимости ситуации, с ней связанной.

Безусловно, динамика восприятия сакрального содержания идиом зависит от типа языковой личности, возраста, места проживания, культурного фона носителей языка и т.п. Для выявления психологической реальности сакральных смыслов нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент с носителями литературного языка. А.А. Залевская отмечает, что «методики такого рода позволяют не только обнаружить сформировавшиеся в прошлом опыте человека системы связей, но и разграничивать «ядро» и «периферию» отдельной системы, измерять степень семантической близости между ее элементами, прослеживать динамику связей внутри исследуемой системы» [Залевская 1990: 9].

В результате анализа сакральной идиоматики мы пришли к выводам о том, что сфера сакрального, структурируемая базовой оппозицией сверхъестественного: святое («чистое») и демоническое («нечистое»), представлена в коллективном языковом сознании определенными **стереотипами** восприятия каждого из членов этой бинарной оппозиции. Так, наиболее значимыми признаками, объективирующими представления о сверхъестественном, являются следующие:

1. Святая (чистая) сила – символ всего положительного. Ее действия воспринимаются как приносящие добро, помогающие человеку. Именно она наделяет (или не наделяет) человека талантом, здоровьем, красотой и т.д.

2. Нечистая сила – символ всего отрицательного. Ее действия воспринимаются как мешающие человеку, приносящие вред здоровью, семейному благополучию, хозяйственной деятельности и т.п. Ее влиянием человек, пытаясь снять с себя ответственность, оправдывает свои неудачные и неблаговидные поступки.

Все вышесказанное диктует необходимость при анализе набора ассоциатов и выявлении доминанты ассоциативного поля ориентироваться на экспликацию общих представлений о сакральном в разных семантических признаках:

- о свойствах и способностях чистой и нечистой силы;

- о внешнем виде;
- о правилах «общения» со сверхъестественным;
- об образе жизни в соответствии с Божьими законами;
- о судьбе и предопределенности и т.д.

Свободный ассоциативный эксперимент был проведен среди студентов-филологов и культурологов четвертого и пятого курсов Уральского государственного педагогического университета, аспирантов, обучающихся по разным специальностям (общая психология, специальная педагогика, социология и др.). Всего в свободном ассоциативном эксперименте участвовал 61 человек.

В качестве стимулов носителям литературного языка было предложено 15 идиоматических сочетаний, при отборе которых учитывались следующие критерии:

1) наличие формально выраженного сакрального компонента в составе идиомы, обладающей сакральной семантикой;

2) наличие формально выраженного компонента в составе идиомы, которая либо изначально не имела сакральных смыслов, либо утратила их в процессе функционирования;

3) отсутствие формально выраженного сакрального компонента при наличии у идиомы общего сакрального смысла;

4) наличие в составе идиоматического сочетания разных средств выражения сакральной семантики (сакрального субъекта, сакрального объекта, сакрального времени, сакрального действия);

5) сфера функционирования (литературный язык и диалектная речь);

6) частотность употребления.

Гипотеза эксперимента базировалась на следующих предположениях:

- сакральная семантика идиом осознается носителями современного русского языка в разной степени;
- «считываемость» сакрального содержания зависит от нескольких факторов: от значения идиомы, от сферы ее бытования, от частотности употребления, от уровня языковой компетенции испытуемых.

Ассоциативное поле выстраивается с учетом количества полученных реакций. Наибольшее число реакций – ядро ассоциативного поля, затем по степени убывания индекса частотности выделяется ближняя и дальняя периферия. Зона крайней периферии представлена индивидуальными ассоциациями, набор которых позволяет иногда даже в большей степени выявить наличие «реликтов» исходных сакральных смыслов в сознании носителей языка. Такие индивидуальные реакции мы анализировали в соотношении с теми маркерами сакрального, которые являются основой семантизации этого понятия в словарных дефинициях, что позволяет выделить из состава реакций не только ядро ассоциативного поля, но и **ассоциативную доминанту периферийных** реакций, которые эксплицируют отдельные аспекты сакрального. Ассоциативная доминанта, как правило, связывает периферийные реакции с ядром на основе актуализации с их помощью различных зон ассоциативного потенциала идиомы и ее словных компонентов. Ассоциативный потенциал слова мы понимаем, вслед за Т.А. Гридиной, как «ассоциативную валентность знака, допускающую системное (внеконтекстуальное) и речевое варьирование его плана выражения и плана содержания и различную интерпретацию. Ассоциативная валентность знака предстает в виде всей совокупности ассоциативных связей слова» [Гридина 1996: 35].

Выделение ассоциативной доминанты в составе периферийных реакций позволяет выявить динамику восприятия сакрального, которая проявляется в сочетании «элементов устойчивой и варьируемой информации об обозначаемом в содержательной структуре лексем: а) внутрисемемное соотношение компонентов денотативно-коннотативного аспекта значения лексемы…; б) соотношение ядра и периферии лексического значения определяет вариативную зону конкретизации основных сем в структуре сигнификата. Периферийные компоненты содержательной структуры слова расширяют его ассоциативный потенциал; в) соотношение семантического речевого прогноза и актуального смысла слова: в речи ассоциативная валентность внутрисловного типа проявляется в совокупности актуальных

смыслов слова (частных комбинациях компонентов, составляющих его семантический объем. АПС предстает в данном случае как обусловленная самим лексическим значением программа преобразования потенциального содержания в актуальное» [Гридина 1996: 60-61]. Эта «программа» моделирования актуальных смыслов идиомы может быть выявлена при анализе всей совокупности реакций, полученных на стимул, в том числе и периферийных. Продемонстрируем полученные результаты на нескольких примерах.

Бог пихнул ‘неизвестно зачем, для какой надобности’ [ФСРГС 1983: 13].

Всего получено 82 реакции.

Ядро – *неудача* (7)

Ближняя периферия*:* *небо* (3)*, обида* (3)*, кинул* (3), *пришло свыше* (3), *удача* (3).

Дальняя периферия: *обидел* (2), *разочарование* (2), облака (2), *гром* (2), *дождь* (2), *бросил* (2), *ударить* (2), *пнул* (2).

Крайняя периферия: *не очень-то вежливо, расстройство, неприятности, поступок, послан, толкнуть, упасть, пинок, озарение, случайность, наказание, традиция, убыток, неудобство, сложности, Божья немилость, немилость, потеря, случайно, дар, луч, на меня, страх, сложная ситуация, страшно как-то, отринул, благословение, поддержка, бросил, судьба, праведный путь, знамение, обделенность, кинул, штык, чихнул, споткнулся, озарило, отправил куда-то, невезение, смерть, подставил, выгнал.*

Ассоциативное поле этого устойчивого сочетания включает в большинстве своем профанные характеристики, которые ассоциативно связаны со вторым компонентом *пихнул* (глагол со значением ‘действие, направленное на субъект’). В том числе реакции:

1. Синонимического плана *толкнул, пнул, кинул, подставил.*

2. Слова одного тематического поля, вступающие со стимулом в причинно-следственные связи *пихнул – споткнулся, упасть.*

3. Общеоценочные ассоциации, относящиеся к противоположным семантическим полям *неудача, обида,*

расстройство, разочарование, неприятности – удача, поддержка.

4. Парономазы *пихнул – чихнул.*

Несмотря на явное преобладание профанных ассоциатов, идиоматическое сочетание, на наш взгляд, не полностью утратило сакральную семантику, так как среди полученных реакций встречаются такие, которые ассоциативно связаны с компонентом *Бог* и отсылают нас к сфере сверхъестественного:

1. Реакция, отражающая представление носителей языка о месте пребывания божественных сил: *небо* ‘в религиозных представлениях: обитель бога, богов’ [Ож. 1988: 392].

2. Реакции *гром, облака* в какой-то степени, возможно, отражают представления носителей языка о том, что природные явления могут быть вызваны действиями божественных сил. Ср.: «У большинства древних народов среди прочих богов имелся (обычно – самый могучий) бог грома и молнии, Громовик или Громовержец. У славян такую роль играл Перун. Такой бог, по мифологии древних, восседал на облаках и в гневе метал оттуда свои громы и молнии» [РФ 2005: 168].

3. Реакции *пришло свыше, послан, озарение, наказание, божья милость, дар, благословение, судьба, озарило* указывают на то, что высшие силы влияют на жизнь человека**.** Ср.: озарение ‘внезапное <ничем не объяснимое> прояснение сознания, понимания чего-н.’ [Ож. 1988: 383]; судьба ‘стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий’ [Ож. 1988: 676]; благословить ‘у религиозных людей: перекрестить (как бы передавая этим знаком покровительство, пожелание счастья, удач и т.п.’ [Ож. 1988: 45].

Ассоциативная доминанта – «удача / неудача» и рефлексия над этими понятиями. Скорее всего, именно рефлексия над ядерной реакцией *неудача* и реакцией *удача,* зафиксированной в зоне ближней периферии, обусловила появление в зоне крайней периферии реакций, отражающих стереотипы восприятия неудачи как посланной свыше.

Будто Бог на телеге едет ‘о сильном ударе грома’ [ФСРГС 1983: 7].

Всего получена 71 реакция.

Ядро – *гром* (7).

Ближняя периферия*: важный* (4), *гроза* (3), *красота* (3).

Дальняя периферия: *гордый* (2), *король* (2), *великий* (2), *грохот* (2), *громкий звук* (2), *гром гремит* (2).

Крайняя периферия: *красиво, гармония, небо, закат, огонь, пыль на дороге, громыхание, важность, радость обыденному, вместе, рядом, деловой, королевский, осанка, высокомерие, слава, щебень, дождь, новый русский, слишком солнечный свет, денди, неравенство, присказка, бок о бок, выделывается, красивый, сильный, ирония, уважение, шум, богатство, лето, Илья-пророк, громкий звук, Зевс на колеснице, рядом с тобой, бред, надменный вид, нелепый, лошадь, тишина, гром гремит; Илья-пророк на колеснице едет*..

Ассоциативная доминанта – осмысление природных явлений.

Можно предположить, что реакция *гром*, являющаяся ядром ассоциативного поля, отражает наивные представления носителей языка о том, что природные явления – результат действия сверхъестественных сил (см. выше). Ср. также: *гром, гроза, гром гремит.* Кроме этого, на периферии ассоциативного поля встречаются реакции, отсылающие нас к сакральным субъектам: мифологическому персонажу *Зевс на колеснице* и православному *Илья-пророк, Илья-пророк на колеснице едет.*

В то же время периферия ассоциативного поля содержит в большинстве своем профанные реакции, связанные с антропоморфными характеристики *красота, гордый, король, великий, королевский, осанка, слава, денди, красивый, сильный.* Наличие подобных реакций оценочного характера, по-видимому, обусловлено употреблением в составе идиомы сравнительного союза *будто* и произвольным вычленением компонентов (будто Бог).

Таким образом, устойчивое сочетание еще сохраняет сакральную семантику, но, возможно, со временем перейдет в разряд профанных, чему способствует переосмысление компонента *Бог* в составе идиомы ‘человек, подобный Богу’. Ср. оценочные реакции социокультурного плана. *Важный* ‘имеющий особое значение, значительный’ [Ож. 1988: 64]; *важность* ‘1. см. важный. 2. Гордое поведение, гордый вид’ [Ож. 1988: 64]; *высокомерие* ‘гордое и надменное поведение, отношение к кому-либо’ [Ож. 1988: 116]; *осанка* ‘внешность,

манера держать себя’ [Ож. 1988: 452]; *надменный* ‘самонадеянный и кичливый, высокомерный’ [Ож. 1988: 371]; *новый русский* ‘российский предприниматель и коммерсант, занявшийся бизнесом в период перестройки и быстро разбогатевший’ [ТСРЯ 2002: 426].

Бес сидит ‘кто-либо испытывает постоянное, непреодолимое желание сделать что-либо предосудительное, опасное’ [ФСРЛЯ 1991: т. 1, 26].

Всего получено 84 реакции.

Ядро – *зло* (5).

Ближняя периферия: *злость* (3).

Дальняя периферия: *бес в ребро* (2), *чертовщина* (2), *бесовщина* (2), *гнев* (2).

Крайняя периферия: *не спит, поджидает, дремлет, опасность, страх, ехидство, подсматривает, в человеке, ненависть, хитрый, лукавый, неуравновешенный, душа, сердце, болото, негодяй, преступник, вздорность, лохматый, взрывной человек, безбашенный егоза, беситься, бестия, весело, затаить зло, чертенок, нервы, томление, черт в голове, злой человек, буйство, буян, пыль до потолка, брань, раздор, изгнание, человек, мешок, дуб, дерево, костер, дьявол, ребенок, я, страшно, дурость, зверь, разбудить зверя в ком-то, злой человек, неприятный, лень, дикость, шалун, егоза, облака, раздраженность, пакостливость, ветка, страх, скрючился, сумасшедший; человек, одержимый бесом; страшный с рогами; все раздражает, бесит; кто его знает, чего дождемся; человек, вызывающий отрицательные эмоции; любовник пожилого возраста.*

Ассоциативная доминанта – зло и различные его проявления.

Периферия представлена реакциями, отсылающими к сфере сверхъестественного. Особенно интересна периферия ассоциативного поля, которая представляет, условно говоря, «портрет» демонологического персонажа, включающий:

1. Реакции, выражающие отрицательные коннотации, связанные с представлением о нечистой силе: *злость, гнев, беситься, бестия* и т.д. Две последние реакции можно рассматривать и как эпидигматические, лишенные связи с сакральным смыслом и основанные на чисто фонетических

сближениях со стимулом *бес*. Ср. лексическое значение, приводимое в современных толковых словарях, например, *беситься* ‘1. Заболевать бешенством, 2. Резвиться, шалить без удержу’ [Ож. 1988: 40]; *бестия* ‘плут, пройдоха’ [Ож. 1988: 42].

2. Ассоциаты, составляющие со стимулом отношения координации: *бес – черт, бес – чертенок, бес – дьявол.* Такие реакции отражают общую тенденцию функционирования анализируемых идиом, связанную с формальным варьированием компонентов, чаще всего называющих демонологических персонажей.

3. Реакции *болото, ветка, дерево, дуб*, отсылающие к сакральному пространству и его характеристикам.

4. Реакции, отражающие представление носителей языка о внешнем виде нечистой силы: *страшный с рогами, скрючился, лохматый*.

5. Реакции, которые отражают представление о характерных действиях нечистой силы: *не спит, поджидает, дремлет, подсматривает, пакостливость.*

6. Ассоциаты, «приписывающие» нечистой силе человеческие качества (черты характера): *хитрый, лукавый, неуравновешенный, ехидство, негодяй, преступник*.

7. Ассоциаты, актуализирующие зону коннотаций, связанных с нечистой силой. В основном это реакции со значением неопределенности и связанных с ней эмоций, ощущений: *страх, опасность, кто его знает, чего дождемся*.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что идиома не утратила сакральную семантику, поскольку сохраняется отсылка к сакральному субъекту.

Результаты эксперимента позволили сделать следующие выводы:

- идиоматических сочетаний анализируемой группы в большинстве своем осознается носителями литературного языка как сакральные. Причем сакральная семантика осознается с разной степенью глубины. В одних случаях идиома однозначно воспринимается как сакральная, что находит отражение и в ядре, и на периферии ассоциативного поля, например, *бес сидит, нечистый дух попутал.* В других случаях сакральные смыслы являются факультативными и обнаруживаются только

на периферии ассоциативного поля при учете разного рода ассоциативных связей (фонетических, словообразовательных, лексических и т.д.), например, *как кикимора, знаткой человек*;

- наличие реакций сакрального характера поддерживается прозрачностью исходной мотивировки внутренней формы (образным основанием), например, *гадать на кофейной гуще*. Ср., отмечаемую Т.А. Гридиной, подвижность ассоциативной связи «денотат – сигнификат - коннотат» «и с точки зрения реализуемых аспектов значения слова, и с точки зрения реализуемой понятийно-денотативной отнесенности слова в речевой деятельности» [Гридина 1996: 37];
- ассоциаты, свидетельствующие о разной (и сакральной, и профанной) интерпретации сакральных идиом, диктуют необходимость обратиться к живой диалектной речи, которая даже в условиях искусственно смоделированного направленного общения позволяет выявить актуальность сакральных смыслов для языкового сознания диалектоносителей.

Литература

Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург, 1996.

Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. – Воронеж, 1990.

Список сокращений

ФСРГС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири / сост. А.И. Федоров. – Новосибирск, 1983.

Ож. – Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1988.

РФ – Бирих А.К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова; под ред. В.М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2005.

ФСРЛЯ – Фразеологический словарь русского литературного языка в 2-х тт. / сост. А.И. Федоров. – Новосибирск, 1991.

© Воробьева Н.А., 2007

В.В. Горбань, Н.В. Подольская
Одесса

Гендерные особенности ассоциаций на соматизм ГЛАЗА

Изменение научной парадигмы, характерное для современного гуманитарного знания, базируется на принципах антропоцентризма, возникшего в эпоху Возрождения. Философское осмысление этого принципа было предложено Д. Юмом в XIX веке: «Несомненно, что все науки в большей или меньшей степени имеют отношение к человеческой природе и что сколько бы удалёнными от последней ни казались некоторые из них, они всё же возвращаются к ней тем или иным

путём» [7, I: 82].

Для современной функциональной методологии антропоцентризм является релятивным, определяющим человека как гносеологический центр и признающим особую роль человека в реальности» [4: 18]. Наиболее яркой идентифицирующей характеристикой человека (этноса) во все времена являлся язык. «… ещё Пифагор «для познания нравов какого ни есть народа» советовал прежде всего изучить его язык. Столь же неоспорима связь языка с культурой, орудием и ипостасью которой он является, или же, в более сильной, гностической формулировке, отражённой в Евангелии от Иоанна, он несёт в себе источник всего сущего («В начале было слово…»), в том числе и самого человека» [1: 64].

Именно этим и объясняется лингвистический аспект при изучении человека. Языкознание интересует не просто языковая личность, а особенности человека в различных его ипостасях. Последние несколько десятилетий всё больше внимания уделяется изучению мужского и женского поведения, мышления, общения, возможности самореализации в зависимости от полоролевых стереотипов.

Гендерное своеобразие, проявляемое в языке, рассматривалось многими лингвистами (О. Есперсен, А.В. Кирилина, А.П. Мартынюк, О.Ф. Петренко, Е.М. Бакушева, Е.А. Земская, В.В. Потапов, Е.И. Горошко и др.), но особенности ассоциаций с гендерных позиций изучены недостаточно. Этим и объясняется выбор темы нашего исследования. Цель работы – проанализировать ассоциативный ряд на слово-стимул ГЛАЗА у мужчин и женщин.

Свободный ассоциативный эксперимент позволяет получить психологически релевантные результаты, так как мы «апеллируем к неосознаваемому, глубинному слою нашей психики» [6: 192], иными словами, происходит «соотнесение идентифицируемой словоформы с некоторой совокупностью единиц глубинного яруса лексикона, отражающей многогранный опыт взаимодействия индивида с окружающим миром» [3: 36].

Ассоциативная реакция позволяет выявить тот признак идентифицированного исходного слова, который является

наиболее актуальным и служит основанием для «включения этого слова в ту или иную систему связей, прослеживающуюся при сопоставлении обоих компонентов актуализировавшейся ассоциативной пары» [2: 75]. Ассоциативная связь как феномен, по мнению Р.М. Фрумкиной, определяется «именно культурой во всем её многообразии – всеми знаниями, опытом, в том числе чувственным опытом, в котором мы не отдаём себе отчёта» [6: 192].

Ассоциативный эксперимент позволяет установить те культурные коннотации, которые соотносятся с концептуальным содержанием языковых знаков в сознании языковой личности. Процесс корреляции происходит бессознательно и, как писал Э. Сепир, «заключается в какой-то таинственной функции национального или общественного мышления, отражённой в умах отдельных членов общества, и просто в типичной для индивида неосознанности тех структурных особенностей, границ и значащих элементов поведения, которыми он имплицитно всё время пользуется» [5: 598].

Благодаря ассоциативному потенциалу слова в языковой системе выявляются семантические отношения, которые базируются не на общности лексического значения, а строятся с учётом ассоциативно-вербальной корреляции. Коррелятивные пары зависят не только от национальных и индивидуальных особенностей языковой личности, но и от её гендерной принадлежности, что и будет доказано в нашей работе.

Любое слово в нашем сознании, памяти не существует в отдельности, оно сотнями нитей тянется к другим словам, создавая порой причудливые переплетения (не случаен термин «ассоциативно-вербальная сеть»), в поисках пары, которая может отражать отношения семантические, синтаксические, деривационные, этимологические, тематические, стилистические, оценочные, ситуативные, культурно-исторические, эстетические и др.

При изучении ассоциаций на слово-стимул ГЛАЗА мы обнаружили, что многие реакции являются универсальными для обоих полов. Это подтверждает мнение многих гендерологов в пользу андрогинии, то есть того, что и феминные, и

маскулинные черты, эксплицитно выраженные в нашем ассоциативном эксперименте, могут быть присущи как мужчинам, так и женщинам. Это объясняется общим строением коры головного мозга и, следовательно, единым механизмом мышления всех людей. Универсальными являются наиболее распространённые и частотные реакции, которые составляют ядро ассоциативного поля.

Несмотря на значительное сходство реакций, в нашем ассоциативном эксперименте обнаружились и существенные отличия ассоциаций, находящихся на периферии ассоциативного поля информантов, наиболее явно это проявилось при исследовании количественного состава реакций обоих полов. При сопоставлении соотношения синтагматических и парадигматических ассоциаций была выявлена следующая пропорция: 23% и 77% – у мужчин и 58% и 42% – у женщин. Такое существенное преобладание у мужчин парадигматических реакций над синтагматическими говорит, возможно, о большей абстрагированности их мышления, склонности к обобщениям, классификации и систематизации. В то же время у женщин эта разница не столь значительна (всего 16%). Исследования по гемисферологии подтверждают, что это обусловлено бо□льшим разделением у мужчин правого и левого полушарий, которое приводит к более чёткому разграничению логического и ассоциативного мышления. У женщин связь между полушариями сильнее и, следовательно, привязка признака к предмету тоже сильнее. Так, у женщин ГЛАЗА – *глубокие*, *чистые*, у мужчин ГЛАЗА – *глубина*, *чистота*, *открытость*. Во втором случае ассоциативный признак представлен в виде абстрактного существительного, а не прилагательного, как у женщин, потому что у женщин мышление более конкретно.

Наиболее частотные реакции встречались примерно в равном количестве как у мужчин, так и у женщин. Среди синтагматических это ассоциации по цвету (ГЛАЗА – *голубые*, *маленькие*, *большие*), по форме (ГЛАЗА – *круглые*, *маленькие*, *большие*), эмоционально-оценочные (ГЛАЗА – *красивые*, *выразительные*, *правдивые*). Среди парадигматических это категориальные ассоциации (ГЛАЗА – *брови*, *ресницы*),

ассоциации, в которых стимул является показателем, характерным признаком реакции (ГЛАЗА – *девушка, газель, змея, кошка, корова*).

Показательно, что на стимул ГЛАЗА у 5% мужчин не возникло никаких реакций. У большинства мужчин реакции очень схожи, однотипны, частотны (ГЛАЗА – *небо, глубина, сила, душа, жизнь, чистота*). Все эти реакции являются ассоциациями парадигматического типа, метафорическими ассоциациями на предложенный соматизм. С морфологической точки зрения многие реакции относятся к абстрактным существительным (ГЛАЗА – *чистота, голубизна, глубина*) и называют признаки, характеризующие стимул по цвету и качеству. Однако, в отличие от синтагматических ассоциаций, называющих те же признаки стимула в форме прилагательных (ГЛАЗА – *глубокие, чистые, голубые*), у парадигматических ассоциативная связь со стимулом слабее.

У женщин намного более разнообразный и детальный состав реакций, чем у мужчин, повторяемость их ассоциаций значительно реже: ГЛАЗА – *каре-зелёные, водянистые, бледные, голубоватые, ярко-зелёные, лучезарные*. Представительницы женского пола видят разную интенсивность одного и того же признака, множество его граней, оттенков; в качестве номинаций встречаются и метафорические. Большая часть их реакций – это ассоциации синтагматического типа, называющие конкретный признак, характеризующий стимул по цвету, форме, качеству (ГЛАЗА – *карие, голубые, зелёные, открытые, миндалевидные, раскосые, синие, выразительные, ясные*).

В отличие от мужчин, у женщин не встречалось нулевых реакций. По сравнению с мужчинами у них преобладали эмоционально-оценочные реакции. Женщины в таких реакциях лучше определяют по глазам состояние души человека (ГЛАЗА – *печальные, весёлые, отрешённые, задумчивые, безжизненные, усталые, обречённые*), его характер, физическое состояние (ГЛАЗА – *оценивающие, раздевающие, уничтожить, испепеляющие, наркоман, с узким зрачком*). Это указывает на большую эмоциональность женщин и умение психологически анализировать ситуацию.

Многие женские реакции представляют собой

словосочетания (ГЛАЗА – *широко раскрытые, со слезами в уголках, длинные и пушистые ресницы, смеющиеся, с густыми бровями*). У женщин высока степень наглядности и образности в реакциях, а сама картинка-воспоминание ярче и чётче, чем у мужчин.

Ассоциации-сравнения чаще встречаются у женщин, причём у них они более возвышенные и романтически приподнятые, чем у мужчин (ср. у женщин ГЛАЗА – *звёзды, огоньки, озёра*; у мужчин ГЛАЗА – *подфарники, блюдца*). Фразеологических реакций на стимул ГЛАЗА также обнаружилось больше у женщин (ГЛАЗА – *два глаза роскошь, один ни к чему*; *мужчина любит глазами*).

Женщины точнее помнят фразеологизмы, прецедентные тексты (ср. у женщин ГЛАЗА – *зеркало души*; у мужчин этот фразеологизм упрощается, очень частотна реакция ГЛАЗА – *душа*).

Наличие таких реакций у мужчин, как ГЛАЗА – *прожектор, хрустальная сфера, протока, глазные яблоки, зрачок* подтверждают мнение многих гендерологов о склонности мужчин к использованию малоупотребительной, профессиональной, иногда диалектной лексики, терминологии, они более точны в номинациях. Это не значит, что данная черта не присуща женщинам, но у них она проявляется в меньшей степени.

Говоря о специфике употребления числительных, гендерологи отмечают, что для мужчины количественная характеристика референта является его важнейшим атрибутом. Мужчина в различных ситуациях относится к ведению счёта более внимательно, чем женщина (ГЛАЗА – *море за тысячу километров от берега*).

Следует отметить, что мужские ассоциации, в отличие от женских, отличаются некоторой «сухостью», нейтральностью, «приземлённостью» оценок, меньшей образностью (ГЛАЗА – *бык, заспанные, компресс, цвет, косые, голубые, кошка, линзы, природа*).

Реакции, возникшие на слово-стимул ГЛАЗА, можно разделить на 2 группы. Первая несёт в себе экстралингвистическую информацию о повседневном общении информантов, их знании общественной жизни, истории, культуры народов, искусства, быта, моды и др.: ГЛАЗА – *дядя*

Миша, *Римма*; *неформалка*; *Наташа Ростова*; *Мона Лиза*; «*Очи чёрные*», «*у неё глаза – два бриллианта в три карата*»; *пророк*, *сглазить*; *часть лица человека*, *орган зрения*; *зеркало души*.

Вторая группа несёт информацию о структуре русского языка. Наибольший интерес представляет лексический состав реакций, в котором отражена лексика активная и пассивная, исконная и заимствованная, общеупотребительная и социально и территориально ограниченная, стилистически нейтральная и сниженная: *очи, лорнет*, *пенсне*; *прожектор*, *дальтоник*, *ля МУР*, *татуаж*; *белок*, *глазное яблоко*, *хрустальная сфера*, *беньки*, *гляделки*.

Обе эти группы присутствуют в ответах и мужчин, и женщин, но внутри групп обнаруживаются гендерные предпочтения. В женских реакциях прослеживается связь с паралингвистикой (*выпученные*, *удивлённые*, *молящие*, *печальные*, *смеющиеся*), знание моды (*татуаж*), массового искусства («*Губки бантиком*»), театра, кино (*Меньшиков*), литературы, живописи (*Демон*); для них характерна большая метафоричность, чувственность, образность и наглядность (*пуговки*, *огоньки*, *искорки*, *хамелеоны*; *терновник*, *любовь*). Для мужских реакций характерно употребление стилистически нейтральной лексики, профессиональной, абстрактной.

Подводя итог, можно прийти к следующим выводам: большая часть реакций **носит универсальный характер** и составляет ядро ассоциативного поля, что обусловлено андрогинной природой человека и единым механизмом мышления всех людей, но даже в рамках одинаковых подгрупп наблюдается гендерное своеобразие. Таким образом, результаты эксперимента позволяют составить модель речевых знаний лингвистической личности, а анализ ассоциативно-вербальной сети позволяет выявить элементы «образа мира», характерные для современного носителя языка с учётом его гендерной принадлежности.

Литература

Воркачёв С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании// Филологические науки. – 2001. – №1.

Залевская А.А. Межкультурный аспект проблемы ассоциаций// Словарь ассоциативных норм русского языка. – М., 1977.

Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистические исследования. – Воронеж, 1990.

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К., 2002.

Сепир Э. Бессознательные стереотипы поведения в обществе// Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 2001.

Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., 2001.

Юм Д. Сочинения: В 2 т. – М., 1965.

© Горбань В.В., 2007
©Подольская Н.В., 2007

Т.А.Гридина
Екатеринбург

Коммуникативные стратегии диалога «взрослый – ребенок»: факторы конструктивного речевого взаимодействия

Речевое развитие в онтогенезе подвержено самым разным факторам «влияния», к числу которых, бесспорно, относится общение ребенка со значимыми другими (прежде всего – с взрослыми). Необходимым условием конструктивности такого диалога является гармонизация (нейтрализация, устранение) когнитивного «диссонанса» и различий в речевой компетенции коммуникантов. Это определяет актуальность обращения к вопросу о типологии коммуникативных стратегий, которые соответствуют принципу «кооперации» [Грайс 1985] в регистре речевого взаимодействия «взрослый – ребенок».

К сожалению, приходится констатировать, что речевые поступки взрослого, выступающего в роли собеседника, далеко не всегда соответствует «ожиданиям» ребенка (в частности не удовлетворяют его коммуникативному запросу, связанному с рефлексией над словом).

Вот один характерный пример.

Гости с порога вручили Наташе коробку конфет и сразу включились в свой разговор**.** Наташа говорит: «*Спасибо*». Ее не слышат. Наташа дергает гостью за подол: *Я Вам сказала «спасибо», вы должны дать сдачу.* Все удивлены: *Какую еще сдачу?! – Вы должны сказать: «Пожалуйста»* [ПЗП][1].

Только настойчивость девочки и нестандартность ее реплики: «*Вы должны дать сдачи»* – заставляет взрослых вступить в «контакт» с ребенком. Маленькая Наташа

---

[1] Примеры из словаря «500 золотых приколов» (ПЗП) [см. Литература], в котором собраны парадоксальные высказывания детей от двух до пяти лет (без указания на возраст конкретного ребенка, чья речь цитируется). Соответственно ссылка на этот источник подчеркивает то обстоятельство, что анализу подвергаются факты речи детей младшего дошкольного возраста.

воспринимает сложившуюся ситуацию как «нарушение этикета» (вежливой формы общения, которой научили ее те же взрослые).

Нередки и такие случаи, когда реакция взрослого на проявления детской «коммуникации» исключает саму попытку «более сильного партнера» встать на позицию ребенка. В частности это выражается в неспособности или нежелании взрослого принять условия детской игры (в том числе словесной).

Мальчик в книжном магазине просит продавщицу:

– *Продайте нам книжку писателя Прическина «Мой чубчик».*

– *Что-то ты мальчик сочиняешь. Нет такой книжки и такого писателя.*

Подумал и говорит недоверчиво: – *Нет?... Ну, ладно. Писателя пусть не будет, а книжка должна быть.*

Ассоциативная связь придуманных ребенком названия книги «*Мой чубчик*» (ср. *чубчик* – торчащая челка, вихор) и «говорящей» фамилии ее автора (*Прическин*) прозрачна. Этот своеобразный каламбур, весьма изощренный для ребенка-дошколь-ника, явно не оценен по достоинству, что становится поводом для довольно категоричной (грубовато-уничижительной) реплики взрослого коммуниканта (продавца). Вместе с тем ответная реакция мальчика спонтанно остроумна: фраза «*Нет такого писателя»* ситуативно интерпретируется как отсутствие писателя *Прическина* в данном месте и в данный момент, но написанная им книжка, согласно безупречной детской логике, все же *должна находиться (продаваться) именно в книжном магазине*. Попытка ребенка «противопоставить» обвинению в обмане (сочинительстве) какой-то аргумент в свою защиту обескураживает искренним желанием сделать воображаемую ситуацию реальной. Если же предположить, что он осознанно шутит, пытаясь смягчить, сгладить ситуацию, то такой креативный прием выхода из конфликта сделал бы честь и взрослому.

Таким образом, как видно даже из приведенных примеров, взрослый и ребенок часто говорят как будто на разных языках. Это обстоятельство определяет актуальность обращения к

вопросу об оптимальном режиме речевого общения взрослого с ребенком с учетом возраста, ситуации, различий в языковой и когнитивной компетенции партнеров по коммуникации и т.п. факторов. С психологической точки зрения представляется важным рассмотреть некоторые трансакции, типичные для коммуникации «взрослый – ребенок» в свете теории ролевых игр, в частности предложенного Э.Берном вариативного «репертуара состояний Я». Выделенные им категории *состояний Я (Родитель, Взрослый, Ребенок)* «суть не роли, а психологическая реальность», состояния сознания личности, проявляющиеся в использовании определенного «набора согласованных поведенческих схем» [Берн 1996: 15]. Ср. существующее в отечественной психологии определение Я-концепции как «относительно устойчивой, в большей или меньшей степени осознанной, переживаемой как неповторимой системе представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит взаимодействия с другими людьми и относится к себе» (примечание Л.Г.Ионина, М.С.Мацковского. Цит. по: [Берн 1996: 15]).

Во всех *состояниях Я* акцентирован момент установки. Так, состояние *Родитель* проявляет стереотипы поведенческих схем, сформированных образами родителей; при этом *Родитель* может проявляться двояким образом – прямо или косвенно: как активное состояние или как влияние Родителя; состояние *Взрослый* проявляет «автономную направленность на объективную оценку реальности» («*Взрослый* контролирует действия Родителя и *Ребенка»*); состояние *Ребенок* (применительно к личности взрослого) соответствует поведенческим актам, «действующим с момента их фиксации в детстве и представляющим собой архаические пережитки», что является, по Берну, «одной из наиболее ценных составляющих личности», поскольку это состояние – источник интуиции, творчества, спонтанных побуждений и радости» [Берн 1996: 15-18].

В контексте заявленной проблемы – выбора взрослым оптимальной стратегии общения с ребенком – все перечисленные выше *состояния Я* (все три аспекта личности), а также «степень готовности людей переходить из одного

состояния в другое» [Берн 1996: 15] значимы для успешной коммуникации. Однако предложенные Э.Берном схемы трансакций, в которых взаимодействующие лица принимают на себя роли *Взрослого, Ребенка или Родителя* в зависимости от потребностей и целей коммуникации, применительно к ситуации диалога с реальным ребенком требуют уточнения. Успешность этого диалога (с точки зрения его познавательной и развивающей ценности) зависит от того, насколько *Я-состояние* взрослого адекватно соответствует психологической готовности ребенка принять условия игры с учетом его собственных интересов и уровня языковой и коммуникативной компетенции. Ребенок, склонный подражать поведению и речи взрослых, нередко примеряет на себя роли *Родителя, Взрослого* или *Ребенка* (не в биологическом, а в психологическом смысле). Так же, как взрослый может изображать из себя *Ребенка*, ребенок может «играть во Взрослого» или, напротив, подчеркивать, что он *Ребенок* (ср. типично детскую оправдательную «отговорку» *я еще маленький,* транслируемую детьми, между прочим, из общения с взрослыми так же, как и *я уже большой*) и т.п. Можно предположить, что успешность реализации стратегий «сотрудничества» в диалоге «взрослый – ребенок» зависит от степени конгруэнтности ролей («я-состояний») коммуникантов.

В соответствии с высказанными соображениями, оценивая успешность коммуникативных ходов, используемых взрослым в диалоге с ребенком, мы будем учитывать не только их лингвокогнитивную (отвечающую рефлексии ребенка над формой и содержанием речи), но и психологическую (прежде всего установочно-ролевую) составляющую общения.

На основании данных, зафиксированных в словарях детской речи [Коняхин 2001; Харченко 1994, 2006], а также собственных наблюдений автора представляется возможным выделить следующие стратегии конструктивного развития диалога «взрослый – ребенок»:

➢ **Стратегия выяснения,** обусловленная стремлением взрослого понять субъективный смысл детского высказывания. Вопросы, адресованные ребенку, служат своеобразным «катализатором», побуждающим его к рефлексии над содержанием и формой **собственной** и **чужой** речи. Девочка

обращается к матери: – *Что значит «ощетинился»?*

Мать: *Подумай сама. Какое слово есть в слове «ощетинился»? – Щетина. – А «щетина» с каким словом родственное? – Щит. Все равно не понимаю, что значит «ощетинился»* (д. 6 л. 4 м.) [Харченко 2002. – Далее ССДР].

В данном случае в речи ребенка проявляется мотивационная рефлексия, намеренно спровоцированная вопросами матери-филолога: ее намеком на то, что в одном слове «кроется» другое (лингвистическое «чутье» в данном случае срабатывает, и девочка верно устанавливает производящее – *щетина*). Второй вопрос требует дальнейшего членения. Пытаясь определить слово, родственное «щетина», девочка идет по пути омофонического созвучия корней *-щит-* и *-щет-* (возможно, поддержанного фоновой смысловой ассоциацией, хотя недоумение, высказанное ребенком по поводу связи значения глагола о*щетиниться* и *щит,* свидетельствует о недостаточной когнитивной базе даже для установления ложноэтимологической версии). Этот диалог в психологическом плане обнаруживает доминирование «взрослого» дискурса в общении с ребенком (мать с позиции более компетентного, опытного партнера апеллирует к «рациональному», аналитическому началу языкового сознания девочки, органично используя понятие «родственное слово» в ситуации поиска «похожего», знакомого элемента для того, чтобы понять значение незнакомого). Однако познавательный запрос ребенка («что значит слово?») остается нереализованным и требует дополнительного когнитивного «подкрепления» и коррекции. Вместе с тем развивающий характер данной стратегии очевиден.

Рефлексия ребенка над словом может быть спровоцирована непреднамеренно. Ср. следующий диалог, спонтанно актуализирующий образное мышление ребенка: – *Ткань букле – все равно что барашек. – Да, как баранчик и как наш Джоня* (пудель) [д. 5л. 10 м.] – ССДЯ. Расширение сравнения «*букле – как барашек + как пудель Джоня*» вполне вписывается в рамки понятной ребенку «зооморфной» аналогии. Речевой стимул, послуживший «катализатором» для ответной креативной реплики девочки, свидетельствует о том, что в ходе данной трансакции мать обнаруживает я-состояние *Ребенок,*

конгруэнтное детскому (наивному) мышлению. Из этого диалога становится ясным и тот факт, что данный ребенок пока еще воспринимает метафору буквально.

Конструктивность стратегии выяснения основывается на внимательном отношении взрослого к детским высказываниям, что позволяет вскрыть неожиданные, порой непредсказуемые смыслы, которые ребенок связывает со словом в определенной ситуации (опрокидывая ожидания, прогноз их употребления).

В саду забирают детей. Показывает маме на своих однокашников: *Это Паша, он беленький! Это тоже Паша, он тоже беленький! – Кто же черненький?* (имеется в виду цвет волос. – Примечание наше. – Т.Г.). – *Негры* [м. 3 г.] (ССДЯ). Как видно из ответа ребенка, в слово *черненький* он вкладывает смысл, не совпадающий с ожиданиями взрослого.

Бабушка с внуком в налоговой инспекции. Внук (4 г.), оглядевшись вокруг, спрашивает: – *Баба, а где мы тут спать будем? – А почему ты здесь собрался спать? – А в телевизоре же говорят: «Заплати налоги – и спи спокойно!».* Такая интерпретация рекламного слогана свидетельствуют о детском номинативном реализме (невосприятии переносного смысла фразы и применении ее к конкретной ситуации в прямом значении).

Подобные факты детской речи диагностичны и не должны ускользать из поля зрения взрослого, заинтересованного в выяснении уровня линвокогнитивного развития ребенка. Кроме того, вопросы, прежде всего, родителей, направленные на выяснение смысловых нюансов речи ребенка, часто продиктованы оправданным интересом к тому специфическому (свежему) взгляду на язык и стоящую за ним реальность, который характерен для детей и уже во многом «закрыт» для взрослых.

Бабушка и внук играют «в пальчики» (называют их): – *А вот это какой пальчик?* Сережа: *Подсказательный. – Почему подсказательный? – Потому что он подсказывает нам, какое мороженое купить* [ПЗП].

Из приведенного диалога становится понятным актуальное для ребенка ситуативное основание замены (уточнения) названия *указательный палец.* Ребенок, объясняя взрослому

смысл таких уточняющих реноминаций, лучше осознает мотивы их появления в собственной речи.

В свою очередь, в речи детей в отраженном виде предстает своеобразное (специфическое) осмысление услышанных от родителей высказываний.

Наташа жалуется: *Я сейчас переживаю трудный возраст. – Чем же он труден? – Все меня воспитывают* [ПЗП].

Как видно из объяснения девочки, выражение *трудный возраст* она понимает в значении «возраст, в котором ребенка все воспитывают», при этом представление о воспитании связано в ее сознании с негативным отношением к назиданиям старших. *Трудный возраст* – оценочная характеристика для обозначения кризисного возрастного периода, когда ребенок становится «трудноуправляемым, трудновоспитуемым». Это взгляд на ситуацию глазами взрослого. С точки зрения ребенка – все наоборот: трудно ребенку, которого окружают разного рода «запретами».

➢ **Стратегия «подключения»**, проявляющаяся в том, что взрослый пытается встать на позицию ребенка, «подстроиться» к логике его речевых ходов и создать ему комфортные условия для самовыражения.

Маленький мальчик (2г. 3м.) едет с бабушкой в трамвае. Смотрит в окно и называет все, что видит. Говорит еще плохо: *ма* – «машинка», *дядя* – «о любом мужчине». Увидев рекламный щит, показывает на него пальчиком, сопровождая этот жест междометным восклицанием «*у-у-у!!!*» (выражение эмоции удивления и восторга). Бабушка ни одну речевую реакцию ребенка не оставляет без внимания. Повторяет за ним: *Да, это машинка едет / Дядя идет, как наш папа / Что там на рекламном щите нарисовано? Тебе интересно?! Машинка? Нет, это мотоцикл / Смотри, вон такой же мотоцикл, на нем дядя едет* (показывает на мотоциклиста за окном). И бабушка, и ребенок явно настроены на диалог (ребенок ждет «подкрепления» собственных номинаций и реплик, а бабушка идет ему навстречу, восполняя недостаток речевой и познавательной компетенции маленького собеседника).

Как правило, в рамках этой стратегии **речевая «свобода» ребенка не ограничивается;** нередко взрослый

присоединяется к ребенку, дублируя «неправильные» формы его речи (такие детские инновации часто становятся постоянными элементами общения с ребенком и закрепляются как единицы семейного жаргона). Например, маленькая Оля (2.5 г.) произносит *синтилевать* вместо *сортитировать*. Мама: – *Олечка, что ты делаешь? – Камешки синтилюю. – А можно я тоже с тобой посинтилюю?* Впоследствии слово закрепляется в семейном жаргоне именно в таком виде. Ср. также *налампомпам* вместо *напополам, Дикабидзе* вместо *Кикабидзе.* Подобные факты детской речи показывает, как явная речевая ошибка переходит в статус игровой единицы при ее осознании, что создает особый шутливый регистр общения между членами семьи: – Ты, когда маленький был, говорил *винегретто Моцарта. – А почему я так говорил? Спутал с винегрет?* (смеется). – *Ну да, у тебя в голове был «винегрет музыкальных слов», вот и получилось «винегретто Моцарта».* В другой ситуации тот же ребенок: *У меня опять в голове «винегретто Моцарта»: я весь алфавит английский перепутал (никак запомнить не могу, что за чем идет)* – 8 лет. Первоначально стратегия *присоединения, подключения* к таким неправильностям детской речи свидетельствует о я-состоянии взрослого, который играет в Ребенка (хочет говорить на его языке), затем при осознании ошибки самим ребенком, взрослый выступает в роли Родителя, любовно сохраняющего память о детстве собственного ребенка.

Лояльное отношение к детскому языку сопровождается, как правило, и поддержкой словотворчества ребенка. Ср.: – *Где гитара? – На кухне отдыхает. – А что она делала? – Она много гитаристила* [м. 4 г. 6 м.] (ССДЯ) // Девочка ест горбушу: *Это рыба-девочка. А давайте в следующий раз рыбу горба купим* [д. 5 л. 8 м.] – ССДЯ.

Удачные словотворческие инновации детей используются взрослыми как «корпоративный язык», облегчающий общение с ребенком в естественном для его возраста ключе. При этом, тиражируя или моделируя условия для воспроизведения освоенного ребенком алгоритма, взрослый способствует расширению его номинативного кругозора в режиме своеобразного лингвокреативного «тренинга». Продуктивной

тактикой в рамках стратегии подключения можно признать введение окказионального детского образования в ряд узуальных номинаций (с учетом использованных ребенком аналогий и их подкрепления): – *Папа, ты хлеб тоже будешь горчить (намазывать горчицей)* [м. 7 л.]? – *Да, буду и хлеб горчить, и суп солить и перчить, чтоб вкуснее было!*) // Видит на картинке баранье семейство: Мама – *овца, папа овец, а их ребенок – овчонок* (м. 3 г.). Мать подключается: – А *у петуха кто жена и детки???* Ребенок задумывается: *Курочка и цыплятки.* Мать: – *А, может, он куриц, она курица, а дети курята (курчата)??? – Ты нарочно так говоришь.* Мама (смеется): *Вот и у овечки муж не овец, а баран, а ребенок не овчонок, а ягненок* (коррекция ненормативных образований в последней фазе этого диалога подготовлена стратегией подключения родовых номинаций, уже освоенных ребенком и выступающих в данном случае эталонным образцом). Сильная позиция взрослого как партнера в диалоге с ребенком выражается при этом нелобовым способом.

➢ **Стратегия «оппонирования»,** при которой взрослый отмечает в речи ребенка неверно истолкованные им слова или выражения, выдвигая «аргументы» против такого понимания; тактичное «оппонирование» подкрепляет когнитивную базу и развивает гибкость речевого мышления ребенка, позволяя ему увидеть языковой факт в новом ракурсе.

Мать обращает внимание пятилетней дочки на то, как снег, подхватываемый ветром, движется по земле: – *Смотри, Аня, какая поземка. Снег по земле ползет.* Девочка исправляет ее: *Не поземка, а полземка. – Но ведь она по земле ползет,* – подчеркивает Анина мама. – *Ну, тогда поземка-полземка,* – принимает компромиссное решение ребенок (пример Т.В.Матвеевой). Этот диалог, безусловно, показателен как пример сотрудничества с креативным ребенком.

Стратегия оппонирования закономерно сочетается со стратегией выяснения. Так, на вопрос: «*Как ты думаешь: гиппопотам* и *бегемот – это одно и то же?»* Даша 6,5 лет отвечает: *«Нет, гиппопотам больше, чем бегемот». – «Почему?». – «Потому что нельзя сказать гиппопотаменок, а бегемотик можно».* «*Так что же,* – продолжает допытываться

у девочки мама, – *гиппопотамы бывают только взрослые,а бегемоты маленькие?». – «Нет, бегемот как диван*, а *гиппопотам до шкафа. В слове «бегемот» 7 букв, а в слове «гиппопотам» – 9, значит, он больше». – «А ты в зоопарке кого видела: гиппопотама или бегемота?». – «Бегемотиху. Как диван. Немножко меньше. Сантиметров двести с половиной»* [Харч. 1994]. В данном диалоге рассуждения девочки спровоцированы вопросом взрослого, который содержит «ловушку». Мать пытается выяснить, понимает ли дочка, что слова «бегемот» и «гиппопотам» – синонимы. Полученный ответ выявляет одну из характерных особенностей языкового мышления ребенка – «номинативный реализм», когда слово воспринимается как часть самого предмета (следовательно, чем длиннее название, чем большее в нем количество букв /звуков, тем больше тот «предмет», а в данном случае животное, которое это слово обозначает). Кроме того, девочка проводит своеобразный языковой «эксперимент», выстраивая смысловую оппозицию «большой – маленький» по освоенному словообразовательному алгоритму (использует модель с уменьшительным суффиксом *-онок* для обозначения «небольшого» гиппопотама). «Полученная» номинация *гиппопотаменок* отвергается, очевидно, как слишком длинная, «труднопроизносимая» и поэтому не соответствующая значению «маленький». Пытаясь «переломить» такую логику рассуждений, мать акцентирует внимание ребенка на том, что выстроенное ею противопоставление ведет к парадоксальному выводу: бегемот – только невзрослое (маленькое), гиппопотам – только взрослое (большое) животное. Действительно, названия с суффиксом *-онок* в языке используются для обозначения детенышей животных (с сопутствующим значением уменьшительности и ласкательности: ср. котенок, медвежонок и т.п.). В доказательство своей правоты девочка приводит аргумент в форме сравнения (*бегемот как диван, гиппопотам – до шкафа*). Сам выбор единиц измерения также характеризует детскую ментальность, обусловленную видением, восприятием действительности в конкретно-чувственных образах (в данном случае абстрактное измерение «большой» – «меньший по размеру» привязано к предметным эталонам *диван* и *шкаф*).

В основе конструктивного диалога при реализации стратегии оппонирования лежит стремление взрослого (выступающего в я-состоянии Взрослого), тем не менее, увидеть факты детской речи «изнутри» (сквозь призму сверхнаивной картины мира ребенка). Приводимые доводы взрослого заставляют ребенка активизировать уже накопленный языковой и когнитивный опыт и способствуют его обогащению.

➢ **Стратегия «коррекции»** заключается в оценке «аномальных» фактов детской речи с позиций языковой нормы и их «исправлении». Например, ребенок (мальчик 2-х лет), знающий уже слово «машина», называет ее *бибикой*: – *Смотри, бибика стоит.* – *Не вижу* (добиваясь «правильного» слова, взрослый разыгрывает непонимание) – ССДР. Это одна из тактик, побуждающих ребенка к коррекции собственного высказывания. Однако в принципе возраст данного ребенка еще вполне «позволителен» для такого словоупотребления (использования слова из так называемого «языка нянь»).

Чаще всего коррекции со стороны взрослых подвергаются грамматические формы детской речи, ослышки и инновации, воспринимаемые как отклонения от правил узуального словообразования: – *А Шермухамеду (большому плюшевому медведю) двадцать года и четыре месяца.* – *Так неправильно!* – *Двадцать лет и двадцать месяцев* [м. 4 г.] – ССДР. В подобных случаях учет возраста ребенка тоже очень важен, поскольку когнитивное и формальное освоение грамматических категорий – не синхронные процессы. Ср. детские ослышки-контаминации: – *Не мешайте мне есть, я глухоем!* (влияние поговорки *когда я ем, я глух и нем*) и, например, словообразование как компенсацию номинативного дефицита (восполнение языковых лакун): *Парк у нас такой глухопутный, что ночью туда не пойдешь! Как в лесу, ночью в парке* [м. 9 л. 4 м.] – ССДР. Если в первом примере перед нами явная ошибка, требующая коррекции, то во втором случае – это детская словотворческая инновация, осознанно смоделированная ребенком применительно к ситуации, не имеющей в узусе однословного наименования. Возраст мальчика (9 л.) дает основания предполагать, что перед нами факт экспрессивного словообразования (возможно, даже проявленная ребенком

интенция к языковой игре). Особый случай представляет собой образование детьми окказиональных грамматических форм (например, сравнительной степени от существительных, выражающей градуальные отношения): *У нас чуть-чуть похолодней (чем в Турции), погололедней* [м. 8 л. 9 м.] – ССДР; вряд ли такие факты детской речи можно и стоит корректировать – они сами уходят из речи ребенка по мере накопления речевого опыта и приближения к усредненной модели языковой компетенции. Вместе с тем детское формо- и словотворчество – это тот субстрат, который, очевидно, необходим для развития креативной языковой личности (следы «экспериментальных» практик детского возраста, безусловно, проявляются в разных видах лингвокреативной деятельности – ср. в этой связи интересные наблюдения над совпадением детских инноваций и единиц художественной речи; своеобразный рефлекс «детскости» проявляется и в разного рода жаргонах – молодежном, профессиональном, в частности, компьютерном, и т.п.). Коррекция «ошибок» – необходимый этап развития языковой компетенции ребенка, и взрослый, используя эту стратегию, обнаруживает я-состояние Родителя, передающего ребенку свой опыт. Продуктивность данной стратегии зависит от возраста ребенка и должна осуществляться с учетом той тонкой грани, которая отделяет ошибку ребенка от инноваций, выражающих специфическую детскую ментальность (ценностные ориентиры детского сознания и тот «языковой образ мира», воздействие которого ощущает на себе ребенок). Наиболее гибкой и эффективной в рамках стратегии коррекции является **тактика объяснения,** которая способствует более точному и полному пониманию ребенком содержания языковых единиц (в результате их толкования, уточнения, углубления их смысла, в том числе контекстуального).

Один пример: Ксюша (4 г.) смотрит, как мама готовит курицу для жарения:

– Чем ты ее намазываешь, мамочка?

– Аджикой.

– А что это такое?

– Это перчик такой острый, доченька.

– Я знаю: обжига язычок обжигает.

– *Ну, тогда мы совсем немножко курочку аджикой потрем, чтоб она не была обжигой* (шутит мать).

Тактика *объяснения* (в данном случае в сочетании со стратегиями *подключения* и *присоединения*) способствует «мягкой» коррекции, не отменяющей возможность взглянуть на «объект» глазами ребенка. Мать «принимает» созданную ребенком инновацию (*обжига*), используя ее в собственной речи; при этом намеренно сталкивает в контексте модифицированный и исходный варианты названия специи (*аджика* и *обжига*), что позволяет девочке сравнить собственную номинацию с прототипом. При этом развивается и способность ребенка к восприятию языковой игры. Взрослый, испытывающий я-состояние Родителя и выполняющий функцию «корректора», не должен игнорировать право ребенка на «собственный язык».

➢ **Стратегия игры** может проявляться в самых разных видах коммуникативного партнерства, но обязательно требует от участников диалога способности к использованию условного языкового кода и/или способности к его «прочтению» (разгадыванию). Данная стратегия стимулирует проявление лингвистической креативности ребенка в наиболее естественной для него форме игровой деятельности. И именно данная стратегия сотрудничества, актуализируя творческое начало детской речи, одновременно «проявляет» во взрослом я-состояние Ребенка.

Приведем для примера следующий сюжет из детского журнала «Ералаш», героинями которого выступают две сестры, одной из которых примерно 10 лет, другой года четыре.

Младшая просит у старшей: – *Нарисуй мне автобус.* Та начинает рисовать. Младшая наблюдает за процессом: – *А почему автобус он не едет?* Старшая, пририсовывая колеса: – *Потому что у него колес нет. – А почему он сейчас не едет?* – продолжает допытываться ребенок. – *Потому что руля нет* (пририсовывает руль). Младшая девочка (эмоционально, с некоторым вызовом): – *Ну почему, почему он не едет?* И, выждав некоторое время, добавляет: – *А я знаю, почему он не едет.* Старшая: – *Почему? – Потому что он* (скандирует) *на-ри-со-ван-ный!!!*

Комичность этого диалога состоит в эффекте обманутого ожидания, который содержится в последней реплике. «Подвох» состоит в двусмысленности вопроса «*Почему автобус не едет?*» с учетом той ситуации, что он нарисованный, а не настоящий. Старшая девочка действует в соответствии с условной игровой логикой: нарисованный автобус «поедет», если его изображение ничем не будет отличаться от настоящего (у него будут колеса, руль и все необходимые детали). Младшая девочка следует другой (буквальной) логике: нарисованный (ненастоящий) автобус не может ехать. Этот провокационный речевой ход (переключение восприятия ситуации в иное русло) спонтанно возникает у ребенка в процессе развития диалога и свидетельствует о креативном потенциале детского мышления.

Стимулирование лингвистической креативности при использовании данной коммуникативной стратегии весьма продуктивно в том случае, когда взрослый предлагает ребенку определенный алгоритм языковой игры в расчете на способность ребенка к его тиражированию. Ср., например, игру в придумывание названий растений по образцу: Мама, обращаясь к восьмилетней Оле, шутит: *А если есть растение мать-и-мачеха, то должно быть дочь-и-падчерица, отец-и-отчим, сын-и-пасынок.* Оля продолжает: *А еще дед-и-баба-да-курочка-ряба.* Вполне «считанный» ребенком игровой алгоритм называния растений по принципу соединения терминов «кровного и некровного» родства получает неожиданно остроумное развитие на основе ассоциации с известной сказкой.

Выявленные стратегии сотрудничества, конечно, не исчерпывают всех возможных ситуаций конструктивного диалога взрослого с ребенком, однако, как нам представляется, свидетельствуют о необходимости пристального внимания к данному источнику формирования языковой и коммуникативной компетенции ребенка. Для успешности общения важна и его психологическая составляющая, в нашем случае это умение взрослого взглянуть на ситуацию глазами ребенка в любом из переживаемых я-состояний: *Взрослый* апеллирует к рефлексивному компоненту детского языкового сознания, используя в основном стратегии выяснения, оппонирования; *Родитель* регулирует и стимулирует нормальный ход речевого

развития ребенка на основе стратегий коррекции, объяснения; я-состояние *Ребенок* ставит взрослого в ситуацию паритетного общения, которое реализуется с помощью стратегий присоединения, подключения, игры. Разумеется, чистота выделенных стратегий и их конгруэнтность соответствующим я-состояниям взрослых коммуникантов относительна (как видно из примеров, разные стратегии сотрудничества могут действовать в сочетании друг с другом). Специального исследования заслуживают я-состояния ребенка как зависимого или самодостаточного коммуниканта и партнера взрослого по диалогу.

Литература

Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Пер. с англ. Общая редакция М.С.Мацковского. – СПб.-М., 1996.

Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – М., 1985.

500 золотых приколов (от двух до пяти) / сост. В. Коняхин. – М., 2001.

Харченко В.К. Словарь детской речи. – Белгород, 1994.

Харченко В.К. Словарь современного детского языка. В 2-х тт. – Т.1. – Белгород, 2002.

© Гридина Т.А., 2007

Г.Р.Доброва
Санкт-Петербург

Психолингвистические причины общности некоторых фактов детской речи и разговорной речи взрослых

В последние годы, в связи с возрастающим вниманием к антропоцентрическому подходу в лингвистике, все большее количество научных исследований посвящается различным аспектам изучения второй части известной дихотомии «язык – речь». С одной стороны, всем известны ставшие уже классическими труды Е.А. Земской, Е.В. Красильниковой и их коллег (например, [Русская разговорная речь 1973]; [Русская разговорная речь... 1981]; [Русская разговорная речь...1983], [Красильникова 1990]), а также другие труды, посвященные русской разговорной речи. С другой стороны, за последние десятилетия было издано много работ, исследующих детскую речь – труды А.М. Шахнаровича (например, [Шахнарович 1985]), Н.И. Лепской (например, [Лепская 1997]), Т.А. Гридиной (например, [Гридина 2003]), К.Ф. Седова (например, [Седов 1999]), И.Г. Овчинниковой (например, [Овчинникова 2006]) и др. В самые последние годы особое внимание к проблемам

изучения детской речи привело к тому, что сформировалась относительно самостоятельная область науки – онтолингвистика, которую возглавляет С.Н. Цейтлин (см., например, [Цейтлин 2000]). К числу исследователей, работающих в названном направлении, относит себя и автор данного исследования.

Таким образом, в отечественной лингвистике изучением и разговорной речи взрослых, и речи детей занимаются много и достаточно углубленно. Вместе с тем, как это ни парадоксально, практически нет исследований, посвященных сопоставлению фактов речи детей и разговорной речи взрослых. Складывается в некотором отношении парадоксальная картина: исследователи находятся каждый в своем «окопе», а дружественные «вылазки» в направлении друг к другу редки и носят исключительно эпизодический характер. Парадоксальной мы позволили себе назвать данную ситуацию потому, что эти области – как нельзя внутренне близки. Если смотреть с точки зрения разговорной речи, – трудно не признать, что детская речь – ее составляющая. Если смотреть с позиций детской речи, – в роли основного источника ее становления, в функции инпута, безусловно, выступает не КЛЯ, а разговорная речь взрослых. Однако, хотя это и очевидно, как ни странно в некоторых трудах онтолингвистической направленности об этом бесспорном факте как будто забывается – детская речь сопоставляется с КЛЯ, а не с разговорной речью, которая, как известно, достаточно существенно отличается от некоей «нормы».

Между тем главная причина общности разговорной речи взрослых и детской речи все же, как представляется, заключается в другом – в общности психолингвистических причин, порождающих одинаковые отступления от этой нормы.

В данном исследовании мы не собираемся затрагивать те факты совпадений детской речи (ДР) и разговорной речи взрослых (РРВ), которые свидетельствуют о непосредственном влиянии, оказанном разговорной (просторечной) речью взрослых на речь ребенка. Например, в данном случае нам не будет интересно перечислять факты типа того, что, если малограмотная бабушка говорит не *их*, а **ихний*, или неверно ставит ударение в каком-то слове, то и внук говорит так же.

Иными словами, мы не будем останавливаться на фактах непосредственного влияния, воздействия просторечия на ДР. Продуктивнее представляется проанализировать некоторые факты, общие для РРВ и ДР, возникающие как бы параллельно, независимо друг от друга, общей порождающей причиной которых, по всей видимости, служат особенности «наивного языкового сознания», наивной картины мира и/или недостаточное знакомство с деталями языковой системы.

Если говорить о проявлении особенностей наивного языкового сознания, то применительно к русскому языку их окажется меньше, чем применительно к языкам, на базе которых проходила креолизация. Поскольку фонологическая система и грамматический строй креолизованных языков во многом формируется путем симплификации – упрощения (об этом упрощении в креольских языках см., например, [Дьячков 1987]), – т.е. за счет свойства, присущего и детской речи (о симплификации в ДР см., например, [Цейтлин 2006]), то очевидно, что в таких языках сходства между креолизированной РРВ и ДР будет больше. Так, отсутствие словоизменительной парадигматики в креольских языках можно сопоставить с соответствующим этапом развития ДР, когда слово выступает в своей так называемой первоформе – единственной пока форме, по формальным критериям совпадающей обычно (но не всегда) с начальной формой слова, однако выполняющей функции всех или некоторых форм данного слова.

Полагаем, что сходство РРВ и ДР в пределах в принципе креолизированного языка проявляется не только в перечисленных фактах, четко ограниченных конкретным языковым уровнем (например, фонологическим или вышеупомянутым морфологическим), но и в случаях «стыка» языковых уровней – например, сочетания лексического и грамматического «сдвига». Так, известный факт детской речи, когда дети (правда – не все: об этом подробнее см., например, [Доброва 2003]) в целях самореференции используют не личное местоимение 1-го л., а собственное личное имя, можно сопоставить с известным из истории фактом, что негры в Америке в XIX веке (говоря по-английски) также нередко

использовали для самореференции собственное имя (не будем в данном случае вступать в полемику о том, что это была за разновидность языка – креольский, пиджин, так называемый «Х-ированный» язык или просто особая разновидность негритянского американского английского). Позволим себе предположить, что подобные факты сходства РРВ (в креольских языках) и ДР – несколько более сложны, чем перечисленные выше, поскольку, с нашей точки зрения, основываются не на симплификации собственно конкретных проявлений языковой системы, а на симплификации мыслительных операций. Так, в последнем примере присутствует, как представляется, факт неосвоенности дейктического «перевертыша», интуитивное стремление уйти от сложностей речеролевой идентификации в речевом акте, основанной на понимании персонального дейксиса и функционально-семантической категории персональности, что в свою очередь восходит к когнитивным причинам. Такого рода факты, как представляется, демонстрируют сходство собственно «наивного языкового сознания» субъектов РРВ (в данном случае – в креолизированном / пиджинизированном варианте) и ДР.

Поскольку русский язык креолизации не подвергался, то столь очевидных параллелей здесь, по-видимому, найти не удастся. Между тем отдельные факты сходства легко усматриваются, если сравнить ДР с речью некоторых проживающих в России или за ее пределами (например, на Кавказе) гражданами бывшего СНГ. Так, в обоих случаях легко увидеть факты симплификации, например, падежной системы русского языка (типа **Дай чашка*), вызванные в обоих случаях неосвоенностью русской словоизменительной системы – в речи детей обусловленной возрастными / когнитивными факторами, в речи взрослых билингвов обусловленной причинами, сходными с причинами вышеупомянутого игнорирования словоизменительной парадигматики в креолизированных языках (это может быть и следствием воздействия межъязыковой интерференции с родным языком, и просто непониманием словоизменительной семантики – как конкретной русской языковой системы, так и словоизменительной семантики, например, существительного вообще, как таковой).

С.Н. Цейтлин (см., например, [Цейтлин 2006]), много занимающаяся в последние годы так называемыми детьми-инофонами (приехавшими в Россию из бывших республик Союза и находящихся на весьма различном уровне владения как русским, так и используемым дома языком), предложила следующую классификацию сходных ошибок в ДР и в речи инофонов (вообще инофонов, в том числе и взрослых): унификация основ существительных (**кусоки*), унификация флексий существительных (**под кроватей*), стандартизация корреляции глагольных основ (**искаю*), преодоление вариативности способов имперфективации (**разрушиваю*).

Все вышеперечисленное, безусловно, интересно и заслуживает отдельного внимания. Между тем не менее интересна и проблема сходства (вызванного общностью порождающих причин) фактов ДР и РРВ – взрослых, являющихся «натуральными» носителями языка, для которых, равно как и для интересующих нас в данном случае детей, русский язык является родным.

Здесь также факты сходства можно классифицировать, причем различными способами. Например, можно подразделить их по языковым уровням.

Так, на уровне фонетики отметим такое общее свойство ДР И РРВ, как стремление к протезе при начальном гласном: **Воля*[2] вместо *Оля*, **Вуля* вместо *Уля* (Ульяна) – в речи пожилой носительницы языка (А.А.Л.,78 лет); **Няня* – вместо *Аня* (вовсе не применительно к няне) в ДР (Алеша Д., 1.8). Кстати, сказанное вовсе не означает, что все дети обязательно стремятся к протезе при начальном гласном: напротив, можно найти примеры, когда дети (скорее всего – другие дети) отсекают начальный согласный: **алить* вместо *налить* (Женя Гвоздев 1.11 [Гвоздев 1981]), **абра* вместо *бобра* (Женя М., 2.6)

---

[2] Здесь и далее, примеры собранные автором данной статьи, даже если они и были уже опубликованы ранее (например, в [Сборник упражнений… 2001], раздел фонетика; [Личные именования 1990] и др.), даются без ссылки на печатный источник. Примеры же, собранные другими исследователями, даются с ссылкой на соответствующий источник.

[Бюллетень Фонетического Фонда… 1994]. Между тем такие факты вовсе не противоречат утверждению, что есть дети, как раз стремящиеся к протезе при начальном гласном, – что и позволяет сравнить этот факт с фактом РРВ.

Общим можно назвать и «неприятие» как в РРВ, так и в ДР так называемого зияния гласных. Если пожилая женщина (Ф.Ф.Л., 69 лет) говорит **тувалет*, **гладиволусы*, **радива* (*радио*), устраняя «зияние гласных» путем добавления согласного [в] в интервокальную позицию, то в детской речи скорее происходит слоговая элизия, также, в конечном итоге, приводящая к устранению «зияния гласных», – **Липо* (*кот Леопольд*) (Таня Ш., 1.8). И опять отметим, что приведенный пример из ДР вовсе не означает, что нет детей, которые, напротив, в силу возрастных особенностей (например, неумения артикулировать дрожащие или фрикативные боковые), создают такое «зияние»: **сеий воук* (*серый волк*) (Женя М., 2.6 [Бюллетень Фонетического Фонда 1994…]).

Сходно в РРВ и ДР стремление к еще большему, чем в нормативной речи, упрощению кластеров. В детской речи это явление очень распространено, причем упрощаются не только 3-4-х, но и двухкомпонентные кластеры: **кубничка* (*клубничка*) (Настя П., 3.6), **тички* (*птички*) (Ксюша П., 2.2), **де* (*где*) (Женя М., 2.6 [Бюллетень Фонетического фонда… 1994]), **стретилась* (*встретилась*), **тено* (*темно*), **галсук* (*галстук*) (Надя Ж., 3.4 [Там же]) и т.д. и т.п. Как видим, упрощаются при этом самые различные кластеры – как двухкомпонентные, так и 3-4-х компонентные; как содержащие [л] (очень типичное для ДР упрощение), так и состоящие из сочетаний фрикативных со смычными, исключительно смычных и др. Нечто подобное можно видеть и в РРВ. Так, из четырех женщин (русских), продававших на рынке кислую капусту, ни одна не произносила *капустка*, исключительно – **капуска*. Однако если обратиться даже не просторечию малограмотных носителей языка, а к разговорной речи вполне грамотных людей, то как часто мы слышим **тока* (*только*), **уди* (*уйди*) и т.п.

Приведенные примеры наталкивают на мысль, что совпадения фактов ДР и РРВ неслучайны. Они порождаются сходными причинами. Позволим себе предположить, что самые

распространенные из них – либо устранение того, что в принципе не очень свойственно языковой системе данного конкретного языка и существует как бы на его периферии – например в словах иноязычного происхождения (как в случае с устранением «зияния гласных»), либо проявление стремления к симплификации, применительно к фонетике – к более простому в произношении варианту (как в случае с упрощением кластеров). Таким образом, можно сделать вывод, что в том, что касается сходства РРВ и ДР на уровне фонетики, действуют два основных фактора – стремление к фонетической простоте и к более привычному для данного языкового сознания звучанию. Представляется, что оба эти фактора следует признать восходящими к более общей психолингвистической причине – стремлению к симплификации языковой системы. При этом данная симплификация распространяется как на «техническую» сторону дела – проще произносить, так и на структурные особенности языковой системы – упростить саму систему, «заставив» нетипичное произноситься по доминирующему в данном языке варианту.

Если говорить о лексико-семантическом уровне, то и здесь можно видеть факты сходства РРВ и ДР. Рассмотрим некоторые примеры.

В РРВ достаточно распространено стремление избавиться от присущей русскому языку и русской системе именований человека двухкомпонентной формулы «имя + отчество» путем именования взрослого человека по отчеству: *Ивановна*, *Петровна* и т.п. Причиной этого, как представляется, является, с одной стороны, нежелание именовать взрослого, а то и пожилого, человека по имени, что носителем языка, особенно принадлежащим к старшему поколению, очевидно, воспринимается как чрезмерно фамильярное, и, с другой стороны, ощущением достаточности одного идентифицирующего маркера, одной лексемы по отношению к одному индивиду. В ДР в некоторых случаях можно встретить буквальное совпадение с РРВ – в том плане, что дети, как и взрослые, вместо двухкомпонентного сочетания «имя + отчество» произносят только отчество: **Акалаевна* (*Александра Николаевна*) (2.2), **Йиграфьевна* (*Лидия Евграфовна*) (3.5),

**Алинтиновна* (*Ольга Валентиновна* (4.7) и т.п. Вместе с тем полагаем, что в ДР причина выбора отчества, а не имени в качестве единственного идентификатора – иная, чем в РРВ: здесь не действует стремление избежать фамильярности, ощущаемой взрослыми носителями языка при именовании другого взрослого человека по имени. Мало того. Детьми, как показали наши исследования (например, [Доброва 2003]), отчество вообще до определенного возраста не воспринимается как именование человека по отцу: ребенок может знать отчество человека, но с недоумением ответить, что не знает, как зовут отца этого человека. Не может служить причиной использования исключительно отчества для именования человека и влияние просторечия взрослых: во всяком случае, Санкт-Петербургские дети, примеры использования которыми отчеств были приведены выше, практически наверняка не сталкивались с такой системой именования человека. Причина сокращения двухкомпонентного именования человека до однокомпонентного – в другом: это ощущение достаточности одного слова-именования по отношению к одному лицу. В пользу этого говорят и многочисленные факты, когда дети «сливают» имя и отчество человека в одно слово и произносят это «именование» слитно, с одним словесным ударением: **Аденьтьевна* (*Адель Леонтьевна*) (2.11), **Аливановна* (*Алина Ивановна*) (3.2), **Лидиванна* (*Лидия Ивановна*) (3.3), **Имикалавна* (*Эмилия Николаевна*) (3.3) и т.д. Таким образом, если отбросить детское возрастное незнание ни сути отчеств – как именования человека по отцу, ни фамильярности обращения младшего к старшему по имени, то и в РРВ и в ДР отчетливо можно видеть стремление к употреблению одной лексемы-идентификатора по отношению у одному лицу, ощущение достаточности одной лексемы. Полагаем, что, несмотря на то, что здесь, как и в случаях с фонетикой, также можно узреть симплификацию, акцент все же в данном случае имеет смысл сделать на другом – на стремлении к экономии языковых средств. Разумеется, если понимать симплификацию широко, то и экономию языковых средств можно отнести к ней, однако нам все же кажется, что экономия средств выражения не всецело принадлежит к области симплификации, поскольку, упрощая

«план выражения», иногда усложняет «план содержания». Поэтому представляется, что стремление к экономии языковых средств – отдельная психолингвистическая причина сходства РРВ и ДР.

В области лексической семантики в РРВ и ДР можно обнаружить и другие сходные факты. К ним можно отнести, например, незнание (либо неактуализацию) одного из значений многозначного слова и, вследствие этого, опору на известное значение, сопровождающееся некоторым «протестом» против использования собеседником незнакомого (неактуализированного) значения многозначного слова. Так, пожилой плотник (И.В.З., 80 л.) стоит на стремянке и пытается прибить полочку, сил у него не хватает, и собеседница, чтобы прервать его мучения, говорит: *Иван Васильевич, да бросьте вы эту полку, прекрасно обойдемся и без нее*. В ответ раздается (не в шутку): *Да что ты, Ниночка, зачем же я бросать ее буду, разломается еще. Я ее положу аккуратненько, глядишь – потом и используем*. Сравним это с примерами из ДР. Мать и бабушка ребенка находятся на кухне. Из ванной комнаты раздается треск. Мать бежит туда, возвращается и с облегчением говорит: *Это мыльница полетела*. Алеша с недоверием бежит в ванную комнату, возвращается и с осуждением говорит: *Она не полетела. Она упала*. Он же «исправляет» бабушкино высказывание: *Бабуля, ты сказала, что мама села в троллейбус. Нет, я видел: она не села, она встала в троллейбус* (Алеша Д., 2.7). Разумеется, имеется некоторая разница в причинах, порождающих коммуникативную неудачу в случае со взрослым носителем языка и с ребенком. Разумеется, старик знал значение глагола *бросить* – ‘выбросить’[3]. Однако в ситуации, когда он стоит на стремянке и с трудом удерживает полку в руках, значение *бросить* – ‘выпустив из рук, дать упасть’ – для него более актуально. Для ребенка же переносные значения слов *полететь* – ‘упасть, свалиться’ – и *сесть* - ‘войдя, поместиться где-нибудь (для поездки)’, по всей вероятности, просто незнакомы. И все же в этих примерах мы видим и общее: и

[3] Здесь и далее толкования слов приводятся по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова [Ожегов 1970].

взрослый (наивный носитель языка), и ребенок в ситуации, когда одно из значений многозначного слова оказалось для него в данный момент «закрытым» (неактуализированным – для взрослого, незнакомым – для ребенка), с уверенностью опирается на более близкое (знакомое) для него значение, не пытаясь при этом вдуматься в смысл высказывания собеседника (задуматься, что же он имел в виду), а «протестуя» против неверного, как ему кажется, использования слова. Позволим себе предположить, что названные примеры восходят к такой общей причине, как некий эгоцентризм наивного носителя языка.

В пользу существования такого общего эгоцентризма говорят и следующие факты. Навряд ли имеет смысл доказывать существование детского эгоцентризма, он общеизвестен. Однако сопоставим следующие проявления эгоцентризма детей и взрослых на материале понимания и/или использования ими терминов родства. Нам приходилось, совместно с исландской коллегой Х. Рагнарсдоттир проводить большой эксперимент, проверявший усвоение детьми семантики терминов родства и родственных отношений. Примеров детского эгоцентризма там было множество, приведем лишь один из них: в эксперименте был вопрос *Есть ли у твоей мамы папа?* с последующей просьбой назвать его имя. Большинство детей до 6-ти (!) лет в ответ называли имя не деда по матери, а имя собственного отца, как бы ведя отсчет от себя. Интересно, что такое стремление встать на собственную точку отсчета мы обнаружили не только у детей, но и у взрослых (что изначально экспериментом проверять никак не предполагалось). Для того, чтобы опрашивать детей, зная имена его родственников, мы предварительно давали родителям анкету и просили перечислить в ней родственников ребенка, причем специально подчеркивалась и особо оговаривалась просьба – указывать родственников с точки отсчета ребенка, а не со своей точки отсчета: например, *Петрова Анна Ивановна – мама, Петров Александр Сергеевич – папа, Петрова Ольга Александровна – сестра и т.п.* К нашему изумлению, весьма значительная часть родителей (около 14%) с задачей – остаться на точке отсчета ребенка – не справилась: начинали они правильно, с точки

отсчета ребенка, например: *Петрова Анна Ивановна – мама, Петров Александр Сергеевич – папа*, но вдруг «перескакивали» на свою, не ребенка, точку отсчета: *Петрова Ольга Александровна – дочь, Петрова Елизавета Владимировна – свекровь* и т.п. Если бы такие примеры были единичными, ими можно было бы пренебречь, посчитав случайностью. Однако то обстоятельство, что почти седьмая часть взрослых по ходу ответа меняла точку отсчета на собственную, заставляет нас усомниться в известном постулате, что эгоцентризм – свойство именно детей. Полагаем, что это свойство вообще носителей наивного языкового сознания.

Возвращаясь к области собственно лексической семантики, рассмотрим еще одно сходство – использование в качестве антонимов либо слов с противоположным значением в первую очередь тех же лексем, но с «не». Что касается ДР, нам этот факт был известен давно: так, в направленном ассоциативном эксперименте, когда детей просят сказать «наоборот» и в качестве модели-образца задают антонимическую пару (*большой – маленький, друг – враг*), мы получаем массу реакций с «не»: *плохой – неплохой, враг – *невраг, плакать – *неплакать* и т.п. Также много реакций – так называемых контекстуальных антонимов, не являющихся таковыми в языковой системе, например *плохой – умный* (с противопоставлением исключительно коннотативного компонента) либо *снизу – с потолка* (с опорой на семантический компонент). Собственно антонимов в качестве детских реакций в ассоциативном эксперименте указанного типа – единицы. Психологи однозначно трактуют реакции первых двух типов (с «не» и «контекстуальные»), как «плохие», свидетельствующие либо о слишком маленьком словарном запасе, о незнании самих слов-антонимов, либо о несформированности в ментальном лексиконе антонимических оппозиций. Мы же не уверены в такой трактовке; нам давно казалось, что подобные реакции – свидетельство чего-то более сложного. Поэтому весьма интересным показался нам выявленный Н.И. Коноваловой [Коновалова 2007] следующий факт, касающийся семантических оппозиций в двух типах заговоров («приворотных» и «отворотных»): по данным Н.И.

Коноваловой, в начале текста и/или его частей семантические оппозиции представлены прямым отрицанием с «не» (*раба – не раба, перекрестясь – не перекрестясь, из дверей – не из дверей* и т.п.). Затем, по материалам автора, в качестве лексико-семантических средств, усиливающих оппозицию, например, доброго – злого, используется то, что можно назвать контекстуальными антонимами: *чисто поле – темный лес, широкий двор – змеиная нора* и т.п.

Что касается «контекстуальных антонимов», то, полагаем, не только в РРВ, но в ДР они возникают скорее не от незнания антонимической пары, а по причине, изложенной ниже. Возможно, в ожидании в качестве реакции антонима проявляется уже «наивность» самого психолога, интуитивно уверенного в том, что информант обязан назвать антоним. Между тем, никто ему прямо этого не сказал, на это наталкивает лишь заданная модель-образец и просьба «сказать наоборот». Между тем достаточно очевидно, что в РРВ достаточно часто (подсчетов мы не производили, но полагаем, что едва ли не чаще всего – на что, кстати, наталкивают и выводы Н.И. Коноваловой) семантические оппозиции представлены не языковыми, а контекстуальными антонимами.

Однако еще более существенным представляется ситуация с названными оппозициями с «не». Частотность их возникновения в качестве реакций в специально организованном ассоциативном эксперименте с детьми, равно как и выявленная Н.И. Коноваловой их противопоставленность в двух типах заговоров, свидетельствуют, как представляются, о другом: по всей видимости, «наивным носителем языка» оппозиция с «не» ощущается как самая «сильная», самая «бесспорная». Подозреваем, что это тоже – своего рода интуитивное стремление к симплификации языковой системы и/или к экономии языковых средств: зачем нужен другой языковой знак, с другой формой выражения, если в языке есть более простое средство создания оппозиции – с добавлением «не»?

На уровне словообразования также можно проследить сходство РРВ и ДР. Так, в РРВ существует известное явление народной (ложной) этимологии: **полуклиника* вместо *поликлиника*, **спинжак* вместо *пиджак* и т.п. Весьма

распространено это явление и в ДР: **копатка* (*лопатка*), **мазелин* (*вазелин*), **конькей* (*хоккей*) и т.п. Так, об этом много писала С.Н. Цейтлин (например, [Детские словообразовательные инновации 1986] и др.), вышеприведенные примеры – из указанного издания. Интересно, что и в РРВ, и в ДР встречаются случаи и «не совсем ложной» этимологии – когда наивный носитель языка восстанавливает утраченную языком изначальную или просто нетранспарентную внутреннюю форму слова: *корона (крона) яблони* (Ф.Ф.Л., 69 л.) – ***паукина* (*паутина*) (5) (последний пример ДР – из указанной книги С.Н. Цейтлин).

Разумеется, и в области собственно конструирования слов между РРВ и ДР имеются параллели. Отбросим вопрос о писательских неологизмах (типа *молоткастого* и *серпастого* советского паспорта у В.В. Маяковского), а также о сознательно сконструированных окказионализмах относительно грамотных так называемых лингвокреативных людей (**накомпотиться* (В.А.Д., 53 г.), **куролапы* (Г.Р.Д., 43 г), **котумясо* (Е.А.Д., 72 г.), **нахлебник* (в значении ‘то, что кладется на хлеб: колбаса, сыр и т.п.’ (Г.Р.Д., 40 лет) и т.д.) как порожденных иной причиной – стремлением к выразительности и т.п., т.е. сознательными факторами. Детские же словообразовательные окказионализмы (**мокрить* (4), **мечтунья* (4), **облежаться* (4), **разрёвываться* (7), **баловнуться* (5) и мн. др. – примеры взяты из вышеуказанной книги С.Н. Цейтлин) сопоставимы со словообразовательными окказионализмами «наивных носителей языка», которые в случае, если не находят в лексиконе подходящей единицы, не слишком задумываясь, конструируют собственную (**защимливать*, **стукануть* (С.К.Л., 67 лет) и т.п.). Полагаем, что в таким случаях общность ДР и РРВ порождена общей причиной – незнанием языковой нормы, но активным владением языковой системой и умением, следуя ее законам и закономерностям, конструировать слово.

В области морфологии фактов сходства РРВ и ДР также немало. Упомянем лишь некоторые. Например, – использование доминантной падежной флексии существительных: *У меня *палков нет* (Нина Р., 3.5) – *Чем мне помидоры-то подпирать: ни *палков, ни кольев – вообще ничо* (С.К.Л., 69 л.). Замена

одного варианта личного окончания глагола другим – того же лица и числа, но другого спряжения: *Хороших мальчиков *люблют (любят)* (Алеша Д., 2.2) – *Кто ж так косит? *Косют-то аккуратно* (С.К.Л., 69 л.). Перечень примеров подобного рода, касающихся выбора неверного по форме, но верного по функции варианта флексии различных частей речи, продолжать бессмысленно (их много), отметим лишь их общую порождающую психолингвистическую причину: уже упоминавшийся выше интуитивный отказ от «деталей», разновидностей языковой системы, стремление упростить ее, сделать более единообразной. Из фактов сходства ДР и РРВ в области морфологии упомянем лишь те, которые, с нашей точки зрения, восходят к каким-то иным причинам. Так, в книге С.Н. Цейтлин «Существительное» [Существительное… 1987] приводятся примеры детских ошибок в определении рода существительных, которые в нашей речи употребляются преимущественно в форме мн. ч. (**один туфль*, **валенка* и т.п.), и предлагается сопоставить их с аналогичными ошибками в речи взрослых. Всецело соглашаясь с автором в оценке лингвистической причины этих ошибок, попробуем сформулировать психолингвистические причины, порождающие эти ошибочные формы как в ДР, так и в РРВ. Полагаем, что более общая причина психолингвистического плана здесь – не только незнание языковой нормы (что очевидно), но и несклонность выдвинуть (перед самим собой) подозрение, что использованная тобою форма неверна. Если взрослый человек, относительно образованный, и не знает в каком-то случае, какой вариант – верный, он скорее всего задумается, как же надо сказать. Некоторые же «наивные носители языка» часто не только не задумываются, как следует сказать, но и, как кажется, даже не подозревают, что говорят неверно. Точнее, им просто не приходит в голову, что возможен какой-то совсем иной вариант, отличный от того, который избран ими (или известен им от других таких же носителей языка). И в этом отношении такие носители языка похожи разве что на очень маленьких детей, потому что даже трехлетние дети (а иногда и более маленькие) в большинстве своем задумываются о языке, пытаются как-то корректировать не только свою речь, но и речь окружающих.

Поэтому полагаем, что в этом и в некоторых других случаях ДР и РРВ совпадают скорее в факте, но не в «долгосрочном прогнозе»: то, что для очевидного большинства детей исключительно показатель самого раннего этапа и что в ходе речевого онтогенеза чаще всего изменяется, причем изменяется именно в соответствии с закономерностями этого самого речевого онтогенеза, для просторечия некоторых взрослых – постоянный «диагноз». Нам, в связи с известными нам многочисленными фактами ДР, даже в некотором смысле не совсем понятно, откуда берутся взрослые, абсолютно некритичные к собственной речи (ведь среди детей таких почти нет). В любом случае, такую «некритичность» к выбору морфологической формы можно, наверное, все-таки считать общей порождающей причиной ошибок в разговорной речи взрослых и детей (пусть и самых маленьких).

Выше упоминалась такая общая порождающая причина ошибок в РРВ и ДР, как незнание деталей языковой системы и вызванное этим стремление к ее унификации. Казалось бы, примеры, которые будут предложены ниже, можно квалифицировать и таким образом; нам же хотелось бы предложить несколько иную их трактовку. Так, С.Н. Цейтлин выявляет в речи детей стремление использовать для наименования дискретных масс существительные в форме мн. ч. и справедливо отмечает, что в «одних случаях такое употребление резко противоречит норме, представляя речевую ошибку» (**капусты, *вермишели*), а в других случаях является допустимым (***вяленые рыбы*, **морковки*, **варенье из вишен*) [Существительное… 1987: 11]. Иными словами, такие детские примеры иногда совпадают с РРВ, а иногда не совпадают. Конечно, можно рассматривать эти совпадения как порожденные незнанием деталей языковой системы, однако представляется, что возможна оценка порождающих их причин и под другим углом зрения. В подобных случаях хочется скорее говорить не о незнании ребенком или взрослым деталей языковой системы, а об интуитивном стремлении к устранению нелогичности, существующей в языке (почему в одном случае это противоречит норме, а в другом не противоречит?). Это уже

– несколько иная причина – не невнимание к деталям, а интуитивное стремление к логичности, стройности системы.

Особых фактов сходства ДР и РРВ в области синтаксиса, не порожденных влиянием РРВ на ДР (таковых, естественно, множество), а восходящих к единым причинам, причем причинам, до сих пор нами не рассмотренным, мы не усматриваем. Упомянем лишь имеющий косвенное отношение к синтаксису факт сходства, обусловленный особенностями языкового сознания и маркирования субъекта и приводящий, вследствие этого, к специфическому построению фразы. Мы имеем в виду случаи маркирования себя как субъекта. Нам уже неоднократно приходилось писать (подробнее см., например [Доброва 2003]) о таком явлении ДР, как нежелании обозначать себя как субъекта действия в случае, если это действие привело к нежелательному результату: ребенок скажет *Я помог маме, Я нашел*, но не *Я сломал* (он скажет *Оно сломалось*). Полагаем, что это своеобразный лексико-грамматический способ самоустранения от действия, оцениваемого ребенком как негативное. Нечто отчетливо коррелирующее с отмеченным обнаруживаем в уже упоминавшемся выше исследовании «приворотных» и «отворотных» заговоров Н.И. Коноваловой [Коновалова 2007: 27]. Так, Н.И. Коновалова пишет о несимметричности представления акциональной составляющей в «приворотах» и «отворотах»: наличии выраженного субъекта действия в «привороте» (*Я помолюся, поклонюся* и т.п.) и отсутствии такового в «отвороте», при произнесении которого исполнитель заговора осознает неправедность своих действий. Представляется, что общей порождающей причиной такого «ухода» от маркирования себя как субъекта действия в ДР и в РРВ в случаях негативной оценки действия самим говорящим является представление (наивное), что языковое маркирование имеет непосредственное отношение к фактам внеязыкового порядка: не обозначишь себя как субъекта действия, значит, вроде бы, ты и не имеешь к нему непосредственного отношения. Возможно, «наивный носитель языка» в большей мере, чем, например, отягощенный знаниями лингвист, придает значение языку, эксплицированию в речи фактов и процессов, относящихся к внеязыковой реальности. Не-эксплицирование

себя как субъекта «нехорошего» действия (переходящее даже в табуирование экспликации) используется, по-видимому, как дополнительное средство выражения субъективной модальности.

Таким образом, мы попытались рассмотреть основные психолингвистические причины общности некоторых фактов ДР и РРВ. В первую очередь, выявилась такая общая для ДР и РРВ порождающая причина, как стремление к симплификации – симплификации как собственно языковой системы, так и мыслительных операций. Обнаруживается стремление к экономии языковых средств, что, как представляется, лишь частично «пересекается» с симплификацией. Кроме того, и в ДР и в РРВ проявляется стремление к устранению тех закономерностей и фактов языковой системы, которые находятся на ее периферии и не очень для нее характерны, а также нелогичностей этой системы. Последняя причина в некотором смысле коррелирует с таким общим свойством ДР и РРВ, как незнание языковых норм, сочетающееся с активным владением языковой системой и умением, в соответствии с ее закономерностями, самостоятельно конструировать языковые знаки, в том числе – окказиональные. Отдельным пунктом выделим такую причину, как эгоцентризм наивного носителя языка. В качестве возможно существующей причины назовем также некое наивное гипертрофированное представление о значимости языковой эксплицированности, о ее воздействии на внеязыковую реальность. Перечисленные в статье причины, наверняка, могут и должны быть дополнены. Данное же исследование мы оцениваем лишь как шаг на пути интеграции различных областей антропоцентрической лингвистики и, в частности, на пути интеграции исследований детской речи и разговорной речи взрослых.

Литература

Бюллетень Фонетического Фонда русского языка. Приложение № 4. Речь русского ребенка: Звучащая хрестоматия. – СПб., 1994.

Гвоздев А.Н. От первых слов до первого класса: Дневник научных наблюдений. – Саратов, 1981.

Гридина Т.А. Онтолингвистика: учебное пособие. – Екатеринбург, 2003.

Детские словообразовательные инновации / Сост. С.Н. Цейтлин. – Л., 1986.

Доброва Г.Р. Онтогенез персонального дейксиса (личные местоимения и термины родства). – СПб., 2003.

Дьячков М.В. Креольские языки. – М., 1987.

Коновалова Н.И. Сакральный текст как лингвокультурный феномен. Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – М., 2007.

Красильникова Е.В. Имя существительное в русской разговорной речи. Функциональный аспект. – М., 1990.

Лепская Н.И. Язык ребенка (Онтогенез речевой коммуникации). – М., 1997.

Личные именования (лингвистические особенности восприятия и воспроизведения детьми дошкольного возраста) / Сост. Г.Р. Доброва – Л., 1990.

Овчинникова И.Г. Способы выражения таксисной семантики в повествованиях шестилетних детей // Онтолингвистика: Некоторые итоги и перспективы: Материалы научной конференции. СПб., 2006. С.104-110.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1970.

Русская разговорная речь / Под ред. Е.А. Земской. – М., 1973.

Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис / Под ред. Е.А. Земской. – М., 1981.

Русская разговорная речь. Фонетика, морфология, лексика, жест / Под ред. Е.А. Земской. – М., 1983.

Сборник упражнений по детской речи / Сост. С.Н. Цейтлин, М.Б. Елисеева, Г.Р. Доброва и др. – СПб., 2001.

Седов К.Ф. Становление дискурсивного мышления языковой личности. – Саратов, 1999.

Существительное (детские формообразовательные инновации) / Сост. С.Н. Цейтлин. – Л., 1987.

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000.

Цейтлин С.Н. Двуязычный ребенок в русской школе // Современная русская речь: состояние и функционирование. Ч. 2. – СПб., 2006.

© Доброва Г.Р., 2007

В.М.Иванилов
Екатеринбург

Народные снотолкования и приметы в аспекте их лингвокогнитивной природы и специфики восприятия

Толкование сновидений – один из древних гадательных жанров, связанный с интерпретацией увиденного во сне применительно к будущим событиям человеческой жизни. «Прогностическая» информация закрепляется снотолкованием в виде устойчивой языковой формулы. В составе этой формулы выделяются слово-символ (ключевой элемент сновидения) и соотносительные с ним вербальные «интерпретанты», фиксирующие результат специфической переработки информации (содержания сна) в проекции на мир яви.

Специфика снотолкования в ряду других разновидностей гадательных жанров до сих не сформулирована в научных исследованиях с достаточной определенностью. Снотолкование чаще всего характеризуется как разновидность *приметы* (А.Н. Афанасьев, М.Л. Лурье, Т.С. Садова, О.Б. Христофорова и др.). Возможность подобного подхода объясняется структурно-семантическим и функциональным сходством данных жанровых форм.

В частности, различные дефиниции, характеризующие примету как особую форму организации человеческого поведения, либо *включают* в себя снотолкования, либо это *включение* является потенциально допустимым. Под один тип (при широком понимании приметы) подводятся «такие малые фольклорные формы, как собственно приметы, толкования снов (подчеркнуто нами. – В.И.) и некоторые другие виды текстов, основная прагматическая функция которых – информативная» [Христофорова 1998]. Ср. также определение приметы как «некой речевой сентенции, заключающей в себе итог наблюдений за соотношениями знаков, обнаруженных в самых разных областях жизни человека и призванных представить окружающий мир своеобразным «клубком» соотношений и

связей» [Садова 2003: 95], в которое вполне могло бы «вписаться» снотолкование. Добавим к этому, что снотолкования могут транслировать приметы без всякого изменения: так, *черная кошка*, увиденная во сне, – знак *невезения, недоброе предзнаменование*.

Для характеристики семантической структуры снотолкования оказываются значимыми многие составляющие приметы. Ср., в частности, выделяемые Н.И. Коноваловой основные когнитивные предпосылки, определяющие функционирование приметы как особой формы прогноза:

- ✓ информация, включающая описание исходной, прогнозирующей ситуации;
- ✓ интерпретация полученной информации с учетом существенных для интерпретатора и адресата сообщения пропозиций;
- ✓ оценка, основанная на народной аксиологии, учитывающая в большей степени не индивидуальный, а коллективный опыт рефлексии по поводу прототипических ситуаций;
- ✓ прогноз, представляющий собой описание типизированного результата типизированной ситуации;
- ✓ регламентация, являющаяся частью прогноза и предписывающая адресату определенные действия «post factum» в рамках описанной <…> ситуации [Коновалова 2002].

Снотолкование, как и примета, представляет собой двухчастную структуру, в составе которой выделяются интерпретируемая и интерпретирующая части. *Интерпретируемая часть* содержит исходную для сновиденческого прогноза информацию (последняя репрезентирована ключевым знаком сна и/или словом-символом и его ситуативными вербальными конкретизаторами). Потенциальная актуализация этой информации обусловлена когнитивными пропозициями – знанием значения слова-символа и типовыми представлениями об обозначаемом, закрепленными как ассоциативные стереотипы, основанные на обыденной, народной аксиологии. *Интерпретирующая часть* содержит объяснение значения сновиденческого символа (образа, знака сна) на основе типизированных ассоциативных (в частности

антропоморфных и зооморфных) аналогий и ситуативных «привязок». Ср.: ***крот*** *во сне означает человека со слабым зрением или тяжелый труд, приносящий скудные заработки. Иногда крот во сне указывает на наличие тайных врагов. Такой сон предсказывает вам, что всплывут ваши темные дела* [НСС 2003]. В основе приведенных толкований лежат вполне выводимые когнитивные и оценочные пропозиции и ассоциативные (зооморфные) аналогии (ср.: *слепой, как крот* – человек со слабым зрением; *рыть нору – трудиться, как крот* – тяжелый труд; *тратить много усилий на выкапывание узкой норы, как крот* – скудный заработок; *жить в темной норе, долгое время не выходить из норы*; ср.: *зарыться, как крот в нору* – скрываться от врагов, скрывать «темные дела»).

Общим для примет и снотолкований является ***оценочный характер*** интерпретации. Любая информация о типизированной ситуации может быть рассмотрена либо как оценочная, либо как безоценочная (представляющая собой констатацию того или ли иного явления, но не содержащая в себе явно выраженной оценки). Оценочность информации обусловливает характер прогноза как благоприятного / неблагоприятного для адресата (приметы или снотолкования) или же как не содержащего прямого оценочного указания. Ср., например, приметы: *черные тараканы в доме – к богатству*; *тараканы ползут из дома – к пожару* [ЭПС: 255], и снотолкования: *тараканы – к неприятностям* [Сны… 1904]; *к распространению сплетен* [Сонник 1887, Сны… 1904]; *к веселью и радости* [Один… 1896, Сонник 1912, НУС 1998].

Наряду с отмеченными чертами сходства между приметой и снотолкованием имеются существенные отличия, которые позволяют дифференцировать данные жанры в рамках предсказательной традиции.

Снотолкование принципиально отличается от приметы как по характеру (источнику) информации, выступающей основой для прогноза, так и по способу ее интерпретации: в примете описывается ситуация «яви» (реальность, окружающая человека), получающая интерпретацию преимущественно на основе реальных (длительных) наблюдений над последовательностью определенных событий; увиденное во сне

представляет собой «ирреальную реальность», которая условно проецируется на «возможные» события и типовые жизненные ситуации. Это обстоятельство, правда, не отменяет функционального сходства приметы и снотолкования, содержащих прогноз относительно возможных последствий увиденного (произошедшего) во сне или наяву. «Сновидения – это та же примета, только усмотренная не наяву, а во сне», – указывает А.Н. Афанасьев [Афанасьев 1865 Т. I: 242]. Но содержание прогноза (прежде всего, с точки зрения его достоверности) в примете и снотолковании все же разное, даже применительно к интерпретации одной и той же информации. Ср., например, примету: *муравьи суетятся около муравейника – к дождю* [ЭПС: 83] и снотолкования, дающие прогноз на основе той же исходной ситуации: *муравьи, делающие муравейник – здоровье и прибыль* [Новый… 1882]; *видеть во сне муравьев – к богатству* [Полный… 1892]. Ср. также: *муравьев видеть во сне – предвещает честь* [Снотолкователь 1859]; *муравьи – почет или опасность в дороге* [Полнейший… 1872].

В основе сновиденческого прогноза лежит узаконенная традицией «условность» интерпретации, ассоциативно-символичес-кая «обработка» исходной информации. Иначе говоря, в приметах «реалии выступают не в качестве образов, а в своем основном значении» [Пермяков 1970: 86-87] (например: *кошка садится к теплу или в клубок свернулась – к холодам* [ЭПС: 134]), в снотолкованиях увиденные во сне предметы, явления (а также типовые ситуации их представления) объясняются как **символы.** Ср.: *видеть во сне кошку – нарушение супружеской верности* [Полнейший… 1872]. *Слушать во сне мяуканье кошки – обман* [Сонник 1886]. *Ловить кошку – сплетни, открытие сплетен* [Сонник 1886, Сонник 1887]. Общая интерпретационная тактика сближает толкования сновидений с так называемыми «суеверными приметами», в которых «поле “настоящего” не есть причина поля будущего, а его знак» [Садова 2003]. Ср.: *не качай ногами – черта приманишь* [ЭПС: 35] и др.

Приметы и снотолкования отличаются друг от друга и по языковым (грамматическим) способам представления интерпретируемого элемента.

В приметах ключевым вербализованным элементом прогнозирующей ситуации является глагол (несущий информацию о действии, событии как признаке определенной ситуации, влекущей за собой определенные последствия). Например, *носить одежду не на ту сторону – быть битым, иметь неприятности. Мыши изгрызут одежду – к смерти* [ЭПС: 179] и т.д.

В снотолковании вербализованный ключевой символ сна репрезентирован преимущественно субстантивом, имеющим типизированный обобщенно-символический смысл. Группа символов, называющих признак или действие, немногочисленна (в сонниках XIX в. она практически не представлена, а в современных, по нашим данным, занимает около 15-20% от количества всех объясняемых знаков). Однако в реализации ситуативных смыслов символа, выраженного субстантивом, активную «позицию» занимают акциональные и признаковые актуализаторы знака сна, что зачастую не только вносит какой-то дополнительный оттенок в его объяснение, но и полностью меняет направление интерпретации. Например, *собака – благополучие* [Сны... 1904]; *лающая собака – опасность* [Полнейший… 1872]. В подобных случаях может акцентироваться символика признакового слова, выступающего конкретизатором субстантива: *белая собака – свидание с верным другом* [Сонник 1870]; *черная – измена или коварство друга* [Снотолкователь 1859]. Ср. символику цветовых прилагательных *черный – белый* как ранжированных по оценочной шкале *плохой – хороший*.

На основе соотношения интерпретируемой и интерпретирующей частей приметы и снотолкования объединяются явлениями ***многозначности*** и ***синонимии***. Явление многозначности в рамках рассматриваемых жанровых форм заключается в том, что любой из интерпретируемых элементов (предмет, ситуация, символ) может продуцировать разные направления прогноза. Это общее свойство примет и снотолкований. Ср., например, приметы и снотолкования, связанные с образом *кошки*. Приметы: *кошка на человека тянется – к обнове. Кошка моется – гостей намывает. Лижет лапу, моется – к хорошей погоде*; *лижет тело, хвост – к*

ненастью. Если кошка играет и мяукает – будет дождь. Кошка садится к теплу или в клубок свернулась – к холодам. Кошка крепко спит, лежит брюхом вверх – к теплу. Скребет пол – на ветер, метель; *стену – к непогоде*; *морду прячет – к морозу или ненастью* [ЭПС: 134] и т.д. Снотолкования: *кошки – льстивые и хитрые друзья* [Сонник 1908]; *ласки кошки – недоверие* [Сонник 1886]; *ловить кошку – сплетни, открытие сплетен* [Сонник 1887, Сонник 1886]; *кошачьи игры – открытие злоумышленников* [Сонник 1886]; *мертвая кошка – удаление неприятной личности* [Сонник 1886] и т.д.

Однако многозначность примет и толкований имеет разную природу. В приметах многозначность определяется устойчивой последовательностью каких-то реальных (наблюдаемых человеком) событий, формирующих разные когнитивные пропозиции, соотносительные с той или иной ситуацией, возможностью «извлечения» из одной и той же ситуации различных сведений (в частности, по поведению животных судят и о том, какая будет погода, см. приведенные выше приметы). Многозначность сновиденческого символа – это его «онтологическое» свойство, заданное многомерной ассоциативной валентностью знака и обозначаемого им денотата в сознании носителей определенной культуры. Так, на основе представления о слоне как *большом, крупном, грузном* животном у слова развивается сновиденческая символика *опасности* [Полнейший… 1872, НСС 2003], *богатства* [Новый… 1882, Сонник 1912, НУС 1998, НСС 2003], у*важения и признания* [Полный… 1892, НУС 1998, БТС 2000, ч. 1].

Явление ***синонимии*** как в системе примет, так и в системе снотолкований, выражается в том, что один и тот же прогноз основывается на разной информации о типовых ситуациях и базируется на разных пропозициях.

Сущность «предсказательной синонимии» определяется прагматикой жанра примет и снотолкований, интерпретация которых ориентирована на получение актуальной информации о типизированных ситуациях человеческой жизни. Ср. некоторые из толкуемых в сонниках слов, символизирующих *ссору* [НСС 2003]: зооморфные номинации (*баран, петух* и др.); фитонимические и миконимические номинации (*калина, орех,*

тысячелистник, *чеснок*, *яблоко* и др.); соматические номинации (*борода*, *волосы*, *слепые или косые глаза*, *сухие и потрескавшиеся губы* и др.); слова, называющие артефакты (*булавка*, *иголка*, *наперсток*, *гребенка*, *веник*, *метла*, *нож*, *ножницы* и др.); слова, называющие действия (*разговаривать*, *уколоться*, *расчесывать*, *рассыпать* (соль, крупу и т.п.), *мести* и др.) и т.д. Синонимия распространена в соннике и среди слов одной ТГ: например, птицы семейства вороновых символизируют *несчастья*, *неприятности*, *горестные вести*, *смерть*. Ср.: *видеть кричащего грача – чья-нибудь смерть в доме* [Снотолкователь 1859]; *грач – получите известие об умершем* [БТС 2000, ч. 1]; *крик галки – неприятность* [Полный… 1892]; *видеть галку и слышать ее галдеж – к надвигающейся болезни* [БТС 2000, ч.2]; *ворона* – к *горю* [Один… 1896, Сны… 1904]; *ворона – печальные вести* [Сонник 1908, Сонник 1912, НУС 1998]; *ворон, летающий над головой – смерть* [Сонник 1887, Толкование 1911], *ворон – к покойнику* [Сонник 1886, Сонник 1887] и др.

Общим для примет и снотолкований является ***обобщенный характер адресата информации***, получаемой в результате интерпретации. В данных предсказательных жанрах информация «обычно не сопровождается указанием на то, кому именно она адресована. Любой носитель традиции может получить эту информацию и расценить ее как относящуюся именно к нему или скорректировать собственное поведение в соответствии с тем, о чем сообщается» [Христофорова 1998]. Специфика снотолкования заключается, однако, в наличии «адресно» маркированных интерпретаций – это так называемые толкования для мужчин, для женщин, для влюбленных, для больных и т.п., что, однако, не противоречит типовому характеру адресата подобных объяснений.

При сопоставлении примет и снотолкований следует остановиться и на вопросе о *психологической специфике восприятия* носителями языка заключенного в данных жанрах ***прогноза***. Приметы и снотолкования отличаются *отношением* носителя обыденного сознания к ***прогнозу***, заключенному в них. Примета – итог обобщения народного опыта и социально осознанное знание: «Владение народной приметой есть

результат социального навыка поведения и рождает навык поведения» [Рождественский 1970: 227]. Снотолкование также представляет собой итог обобщения народного опыта, однако отношение к объяснению снов носит более субъективный характер, который определяется индивидуально-личностным подходом к восприятию предлагаемого прогноза (либо же к самой необходимости или потребности в их объяснении).

Общим для примет и снотолкований является ***актуальный характер получаемой в процессе интерпретации информации***. Актуальной для человека выступает «та информация, которая необходима ему для корректировки своего дальнейшего поведения или для осмысления пережитого. <…> Человек чаще всего стремится получить и получает именно ту информацию, которую он ждет, на которую, так сказать, настроен» [Христофорова 1998]. Отличием примет от снотолкований является то, что на основе информации, содержащейся в примете, носитель обыденного сознания может скорректировать свое поведение (ср. формулу предостережения: не совершай то или иное действие – тогда ничего не произойдет и т.п.), а на основе информации, базирующейся на интерпретации сновидений, он может только приготовиться к благоприятным или неблагоприятным событиям.

У примет, в отличие от снотолкований, наличествует ***регламентация***, ***представляющая собой часть прогноза и предписывающая адресату определенные действия «post factum»*** в рамках описываемой ситуации. Примета в сознании носителей языка выступает такой формой познания окружающей действительности, которая позволяет человеку «нивелировать» неблагоприятный характер предсказания на основе выполнения «*определенных* действий в *определенное* время в *определенном* месте» [Коновалова 2002: 50]. Ср. характеристику народных примет как свободных «правил прогнозирования будущих ситуаций или будущих действий, когда наличная ситуация уже опознана и известна» [Рождественский 1970: 226]. Например: *Заяц перебежит дорогу – к несчастью*; *ему во след говорят*: «*Тебе пень да колода, нам путь да дорога*» [ЭПС: 103]. *Если кот перешел дорогу, нужно подержаться за пуговицу* [ЭПС: 133]. *Ночной собачий вой* (*если*

собака воет книзу, к земле) – *к покойнику. Чтобы избежать беды, нужно перевернуть подушку и сказать*: «*На свою голову*». *После этого собака замолкнет* [ЭПС: 241]. *Рассыпать нечаянно соль – к ссоре. Чтобы ее избежать, нужно на рассыпанной соли пальцем нарисовать крестик*; *можно посыпать голову или рассмеяться, или ударить себя по лбу, или кинуть через левое плечо три щепотки соли* [ЭПС: 244] и др.

Толкования сновидений не содержат конкретных регламентаций поведения адресата в прогнозируемой ситуации. В отличие от приметы, снотолкование ничего не предписывает адресату в плане конкретных действий и не содержит в себе указаний, нацеленных на снятие неблагоприятного прогноза. Однако для того, чтобы «нивелировать» любое неблагоприятное предзнаменование, в народном понимании существует определенная система действий, значимых и для интерпретации сновидений: «Если приснится сон, предвещающий нечто плохое, <…> надо об этом сне рассказать как можно большему количеству людей, чтобы грядущее нежелательное событие нейтрализовалось: произошло в более легкой форме или вообще не произошло в физическом плане (так как реализовалось уже на вербальном уровне)» [Запорожец 2002: 113].

При сравнении приметы и снотолкования целесообразным является обращение к вопросу о ***функциях***, которые данные жанры выполняют в организации поведения носителя обыденного сознания. В научной литературе выделяются следующие общие для гадательных жанров функции:

- *прогнозирующая* (Т.С. Садова, В.К. Харченко) / *прогностическая* (С. Небжеговска, Г.Л. Пермяков, О.Б. Христофорова) *функция* (доминантная для всех гадательных жанров), суть которой заключается в предсказании будущего;
- *коммуникативная функция* (С. Небжеговска, Т.С. Садова). Эту функцию можно считать «синонимичной» *прогнозирующей*, поскольку «основная *коммуникативная* цель <снотолкования> *прогнозировать* будущее» [Небжеговска 1996: 292];
- *информативная функция* (О.Б. Христофорова) также соотносима с *прогнозирующей*, только содержание текстов,

обладающих этой функцией, связано не с предсказанием будущего, а предоставлением человеку информации об уже свершившихся событиях. Ср. также *констатирующую функцию*, суть которой заключается в напоминании о «традиционном знании» (Т.С. Садова);

- *регулирующая* (О.Б. Христофорова) / *регуляторная* (В.К. Харченко, Т.С. Садова) *функция*. При широком понимании обладающие этой функцией тексты представляют собой «модель интерпретации», на основе которой человек может выстраивать свое поведение или готовиться к ожидающим его событиям (О.Б. Христофорова). Ср. также *организаторскую функцию* (С. Небжеговска), суть которой заключается в организации человеческого поведения;
- *воспитывающая* (В.К. Харченко) / *воспитательная* (Т.С. Садова) *функция* связана с отражением в прогностическом тексте нравственных и поведенческих стереотипов, принятых в народной культуре. В.К. Харченко указывает также, что многомерность развития жизненных ситуаций, заложенная в прогностических жанрах, порождает энтропию (осознание жизненной перспективы как деятельности в поле возможностей).

Снотолкование обладает практически всеми отмеченными функциями, предсказательных жанров:

- *прогнозирующей <прогностической, коммуникативной>* (например, *бык – знак трудолюбия* [Новейший… 1881], *бык – к благополучию* [Сонник 1887]);
- *информативной* <констатирующей> (ср.: *мышь – кто-то из ваших близких затаил на вас зло и пытается вредить вам* [НСС 2003]; *быть в окружении змей – окружающие вас люди в своем большинстве не желают вам добра* [НСС 2003]);
- *регулирующей* (в широком понимании О.Б. Христофоровой), соотносимой с организаторской функцией (например, *петух – вас ожидают радостные вести* [Сонник 1908, Сонник 1912, НУС 1998]; *крик петуха – получение известий, которые укажут вам, что наступил момент, который вы не должны упустить* [НСС 2003]). Приметы отличаются от снотолкований тем, что они могут выполнять узко регуляторную функцию.

Например, 6 августа (День Бориса и Глеба) за жнивье не берутся, чтобы молния не ударила [ЭПС: 31] и др.;

- *воспитывающей* (в широком понимании): например, *скакать в обществе других ездоков на верховой лошади – предвещает счастье и прибыль* [Снотолкователь 1859]; *сытая лошадь – прибыль* [Сонник 1901, Сонник 1908]; *красивая и породистая лошадь – скорое улучшение благосостояния, ваше предприятие принесет доход*; *получение высокого чина и всеобщего одобрения* [НСС 2003]; ср. также: *упавшая лошадь – разорение* [Новый… 1882, Сонник 1886, НСС 2003]; *больная, грязная или мертвая лошадь – позор, убытки, бедность, поражение* [НСС 2003]).

Таким образом, несмотря на общее типологическое сходство, приметы и снотолкования имеют целый ряд отличительных особенностей, что позволяет рассматривать их как взаимосвязанные, но все же **самостоятельные** жанры. Если примету и снотолкование представить в виде полевой структуры, то можно увидеть, что они образуют два пересекающихся структурно-семантических поля, **имеющих зону переходности.** Эту зону составляют общие структурно-содержательные и функциональные признаки рассматриваемых жанров; ориентация на обобщенный характер адресата и народную аксиологию, а также интерпретации сновидений, построенные на актуализации народных примет, а также «суеверные» приметы, не имеющие рационального обоснования. Например, *ловить зайца – неприятность, несчастье* [Сонник 1887, Толкование 1911]. Ср. суеверную примету: *заяц дорогу перебежит – к несчастью* [Д., Т. I: 670]. *Филин – неприятность* [Один… 1896]; *филин – не к добру, неприятность* [Сны… 1904]. Ср. примету: *филин да ворон зловещие птицы, крик их – к несчастью* [Д., Т. IV: 534].

Литература

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. – М., 1865. – Т.1.

Запорожец В.В. Сны и видения как часть ясновидения (по материалам, собранным в Москве летом 1998) // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты / Сост. О.Б. Христофорова. Отв. ред. С.Ю. Неклюдов (серия «Традиция, текст, фольклор»). – М., 2002.

Коновалова Н.И. Язык примет: этнокультурные стереотипы // Язык. Система. Личность. Национально-культурные стереотипы сознания и их отражение в языке: Материалы докладов и сообщений Всероссийской научной конференции 25-26 апреля 2002. – Екатеринбург, 2002.

Лурье М.Л. Вещие сны и их толкование (на материале современной русской крестьянской традиции) // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты / Сост. О.Б. Христофорова. Отв. ред. С.Ю. Неклюдов (серия «Традиция, текст, фольклор»). – М., 2002.

Небжеговска С. Сонник как жанр польского фольклора // Славяноведенье. – 1994. – № 5.

Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки: (Заметки по общей теории клише). – М., 1970.

Рождественский Ю.В. Что такое «теория клише»? // Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (заметки по общей теории клише). – М., 1970.

Садова Т.С. Народная примета как текст: лингвистический аспект. – СПб., 2003.

Харченко В.К. Язык народной приметы // Рус. яз. в школе. – 1992. – № 1.

Христофорова О.Б. Логика толкований (фольклор и моделирование поведения в архаических культурах). – М., 1998.

Список источников и словарей

БТС 2000 – Степанова Н.И. Большой толкователь снов. – М., 2000.

Д. – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. – М., 1999. – Т. I-IV.

Новейший… 1881 – *Новейший* сонник. – М., 1881.

Новый… 1882 – *Новый* толковый сонник, собрание различных снов по опытам столетних моих родственников. – Изд. 3-е. – М., 1882.

НСС 2003 – Смурова О.Б. Новый семейный сонник. – М., 2003.

НУС 1998 – Новый универсальный сонник / Л. Зданович. – М., 1998.

Один… 1896 – *Один* миллион 500.000 снов. Толкование снов, выбранных из сочинений знаменитых египетских и индийских мудрецов и астрономов, как-то Аполлония, Альбумазара, Сонциуса, Тихо-Браде, Мартына Задеки, Платона, Птоломея и известной французской сногадательницы госпожи Ленорман. – М., 1896 // Толкователь снов. Репринт. воспроизведение изд. 1896 г. – М., 1989.

Полнейший… 1872 – *Полнейший* сонник и истолкователь различных примет. – СПб., 1872.

Полный… 1892 – *Полный* сонник. – М., 1892.

Снотолкователь… 1859 – *Снотолкователь* древних и новых астрологов, составленный по алфавиту. – М., 1859.

Сны… 1904 – *Сны* и их толкование. – СПб., 1904.

Сонник 1870 – *Сонник* или толкование сновидений. – М., 1870.

Сонник 1886 – *Сонник*. (Оракул). Предсказания снов. Сост. по указаниям лучших авторов и ученых древней и новой философии и герметике. – М., 1886.

Сонник 1887 – *Сонник*. Самый полный и общедоступный. Собран из сочинений древних магов, средневековых астрологов и позднейших снотолкователей, а именно: Птоломия, Альбомазура, Адия, Тихобраго, Иоганна, Калиостра, Сведенборга, Брюса, Кенигебергера, Мартына Задеки и Ленорман. – М., 1887.

Сонник 1901 – *Толкование* сновидений известного старца Мартына Задеки. – М., 1901.

Сонник 1908 – *Сонник* или толкователь снов. – М., 1908.

Сонник 1912 – *Мисс Хассэ*. Сон и сновидение. Научно объясненное толкование снов. – Варшава, 1912.

Толкование 1911 – Толкование сновидений сто шестилетнего старца Мартына Задеки. – М., 1911.

ЭПС – Ходеев Ф.П. Энциклопедия примет и суеверий. – Ростов н/Д, 2001.

© Иванилов В.М., 2007

Т.И.Калужникова
Екатеринбург

Автобиографическая проза как материал для изучения спонтанного звукового поведения ребенка

Одним из важнейших факторов, способствующих развитию личности ребенка на протяжении всего периода детства, является его спонтанная самореализация в звуках, которая может быть обозначена посредством синонимичных терминов «звуковая активность», «звуковое самовыражение», «звуковое поведение», «звуковая деятельность», «спонтанное пение». Исследователи, изучающие названное явление, как правило, обращаются к научным описаниям фонозаписей детских вокализаций и фольклорных текстов, а также данным этнографии, этномузыкологии, музыковедения, психологии. Полученные таким образом результаты отражают взгляд на рассматриваемый объект извне, со стороны ученого. Однако для исчерпывающей характеристики данного феномена этого явно недостаточно. Проблема в том, что детская звуковая активность имеет необъективированную, отражающуюся только в психике ребенка, и объективированную, пригодную для наблюдения со стороны, области. Первая включает восприятие из внешней среды аудиальных сигналов, их эмоциональное переживание, а на определенной ступени онтогенеза и осмысление, вторая, целиком лежащая в сфере устного бытования, – вербализацию собственных представлений о звучаниях и порождение / воспроизведение звуковых текстов. Ясно, что при рассмотрении деятельности такого рода следует не только опираться на научные установки и методы, но и учитывать позицию субъекта этой деятельности.

Представляется, что подобной задаче оптимально отвечают ***произведения автобиографической прозы***, к числу которых правомерно будет отнести мемуары, художественные тексты, базирующиеся на фактах авторских биографий, дневники и письма. Перечисленные источники сегодня довольно широко привлекаются представителями разных областей научного знания (этнография, фольклористика, литературоведение,

лингвистика, психология, социология, антропология, история, педагогика) для решения тех или иных исследовательских задач.

Мемуаристика таит в себе огромные возможности для познания закономерностей спонтанного звукового поведения детей. Это обусловлено тем, что детский когнитивный и языковой опыт не всегда находятся во взаимном соответствии (обычно когнитивное развитие идет впереди речевого), в силу чего многое из того, что ребенком пережито и хранится в памяти, не получает адекватного словесного выражения, в полной мере проявляясь подчас лишь в воспоминаниях взрослых о своем детстве.

Совершенно очевидно, что автобиографические материалы обладают рядом особенностей, чреватых для исследователя немалыми трудностями. Перед читателем разворачивается не бесстрастно-объективное описание, а эмоционально-субъективное воссоздание прежде всего тех явлений, которые в свое время произвели глубокое впечатление на ребенка и потому отчетливо запечатлелись в его памяти, сыграв значимую роль в дальнейшем развитии. Существенна и творческая индивидуальность автора воспоминаний – его склонность к эмоционально-образному (а в нем – к зрительному, обонятельному, слуховому и др.) либо интеллектуальному восприятию, переработке и воспроизведению явлений действительности.

Еще один специфический признак текстов, основанных на мнемической репродукции некогда пережитых индивидом событий, заключается в том, что воспроизведение человеком своего личного опыта по памяти происходит без возвращения того контекста, в котором подобный опыт формировался. По словам Л. Нюбиной, «метафора времени, которая лежит в основе автобиографической ретроспекции, видоизменяет смысл событий жизни, так как человек вращается не только в жестких рамках личной судьбы, но и приобретает обширный общественный и культурный опыт. В этом заключается “логический рок” и драматизм автобиографики. Под влиянием времени автобиогра-фические события меняют свой смысл, который обновляется, движется, меняет свое значение и целеполагание, выступает пластичным и гибким. Отметим также, что главным медиумом в автобиографическом произведении является “эго”

автора, который выступает и как автор, и как субъект повествования, и как его объект, авторское “я” является центром притяжения всех когнитивных, языковых, стилистических способов рефлексии действительности в тексте» [Нюбина 2006: 71] Поскольку на основе литературных материалов предлагается обсуждать содержание воспоминаний взрослых людей о собственном детстве, представляется необходимым учесть особенности двух видов человеческой памяти – автобиографической и детской.

Феномен автобиографической памяти подробно исследован московским психологом В. Нурковой. По ее определению, «автобиографическая память – это субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний, определяющих самоидентичность личности как уникального, тождественного самому себе психологического субъекта» [Нуркова 2000: 19]. Механизм такой памяти состоит в отборе и определенной схематизации человеком событий собственной жизни, а также объединении разрозненных фактов, нередко в реальности непосредственно между собой не связанных, в некую линейную, последовательную целостность. Хотя автобиографическая память считается особым видом памяти, тем не менее, она связана с другими ее видами, являясь одной из подсистем долговременной памяти.

Что и как фиксируется автобиографической памятью? Свойственны ли ей искажения реальных событий? Существует ли она у детей? Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны для интерпретации литературных воспоминаний о детстве.

В качестве структурно-функциональной единицы автобиографической памяти выступает «автобиографическое событие». Четыре типа событий составляют ее содержание: самые яркие, глубоко переживаемые эмоционально; самые важные с точки зрения судьбы человека; переломные, отмечающие кризисные жизненные ситуации; наконец, наиболее характерные именно для данной личности, репрезентирующие ее суть. Будучи не точной фотографией прошлого, а его субъективной реконструкцией,

автобиографическая память концептуальна. Во многом она регулируется историко-культурной ситуацией, социальной средой развития индивида и «культурным жизненным сценарием» (типичный набор и последовательность жизненных событий), предписываемым этому индивиду сообществом, к которому он принадлежит. Автобиографическое воспоминание, подчеркивает В. Нуркова, мыслимо только в триаде «чувственного образа, его социально заданного значения и личностного смысла» [Нуркова 2000: 24].

Для рассматриваемого вида памяти характерно чередование событийных «пустот» и «сгущений». В результате проведенных экспериментов психологам удалось установить, что у человека есть универсальный «пик воспоминаний», приходящийся на время юности и ранней зрелости (от 15 до 30 лет). Образование такого «пика» связано с тем, что в этот период многие жизненные события происходят впервые, благодаря чему они приобретают яркую эмоциональную окрашенность и надолго запоминаются. Кроме того, именно в поздней юности непосредственный опыт оформляется в связную историю жизни [Нуркова, Митина, Янченко 2005: 22, 23, 27, 31].

Вполне объяснимо, что автобиографической памяти свойственны неточности в воссоздании субъектом собственного «жизненного сценария». Наиболее типичные из них – невозможность более или менее точно локализовать «картины» этого «сценария» во времени, их перестановка, ошибочное представление о временных отрезках между ними. Есть немало причин искажения биографических фактов. В качестве основных психологами обозначены следующие: а) «телескопический эффект», то есть удаление или приближение событий на субъективной хронологической оси в зависимости от их личностной значимости; б) обусловленность автобиографических воспоминаний «циклическим календарным эффектом» – природной или культурной организацией времени; в) «когнитивная интерпретация» одних и тех же фактов – возможность по-разному истолковывать их, в особенности при получении дополнительной информации; г) постепенно происходящая схематизация хранящихся в памяти эпизодов прошлого и приближение их к социальным стереотипам или

стереотипам индивидуального опыта; д) ориентация на актуализацию позитивной или негативной части пережитого, проявляющаяся в доминирующей эмоциональной окрашенности воспоминаний; е) влияние актуального состояния личности, ее возраста, пола, национальной и культурной принадлежности на воспроизведение эпизодов собственной жизни; ж) включенность, то есть способность пережить событие прошлого (ассоциированность) или невключенность (диссоциированность) субъекта в образ воссоздаваемой ситуации (в первом случае имеют место более точные воспоминания, во втором – искаженные); з) «эффект ожидания» (человек видит или слышит то, что ожидает увидеть или услышать) [Нуркова 2000: 262-269; Нуркова, Василевская 2003: 95].

Некоторые ошибки в воспоминаниях, относящихся к начальному этапу жизни человека, обусловлены особенностями детской памяти. Так, известно, что до трех-четырех лет (и даже позднее) ребенок не вполне отделяет собственные фантазии от реальности, в силу чего в содержание автобиографической памяти иногда попадают вымышленные, а не действительно случившиеся в детстве события.

Нельзя не учитывать и роли взрослых в формировании детских автобиографических воспоминаний. По утверждению В. Нурковой, старшими в значительной мере задаются форма и содержание памяти детей о себе. Под влиянием услышанных рассказов реальные факты не только запоминаются, но нередко и искажаются ребенком. В связи с этим автор выделяет четыре типа воспоминаний детства: натуральные (истинные, яркие и эмоционально насыщенные), социальные (истинные, возникающие на основе натуральных в общении с взрослыми), фантазийные (ложные, в которых нереальные события интерпретируются как реально бывшие), артефактные (ложные, сходные с фантазийными, но создаваемые взрослыми) [Нуркова 2000: 250-251].

Чтобы распознать подобные искажения и по возможности «очистить» от них автобиографические свидетельства, психологи предлагают учитывать личностное развитие индивида и специфику его памяти. Применительно к ребенку эти моменты зависят от его психологического возраста, который

понимается как определенная качественно своеобразная ступень онтогенетического развития, обусловленная психофизиологическими факторами, условиями жизни, характером обучения и воспитания. В свете сказанного очевидна целесообразность рассмотрения избранной нами проблемы в соотнесенности с возрастной периодизацией детства. При построении такой периодизации избираются разные критерии: это могут быть чередование в онтогенезе стабильных и кризисных периодов (Л. Выготский), смена ведущей деятельности (А. Леонтьев), стадий сексуального созревания (З. Фрейд), фаз становления детского интеллекта (Ж. Пиаже), ступеней формирования идентичности личности (Э. Эриксон) и др. Наиболее существенными показателями в определении психологического возраста современные отечественные психологи считают социальную ситуацию развития ребенка, его деятельность и новообразования в области сознания и личностного становления. По этим признакам детство разделяется обычно на следующие периоды: стадию новорожденности (от рождения до двух месяцев); младенческий возраст (от двух месяцев и примерно до одного года); раннее детство (от одного года до трех лет); дошкольный (от трех до семи лет) и младший школьный возраст (от семи до десяти-одиннадцати лет).

В характере воспоминаний взрослых о своем детстве сказываются особенности детской памяти на той ступени онтогенеза, когда эти факты были впервые зафиксированы. П. Блонским в работе «Память и мышление» (1935) описаны четыре вида памяти, одновременно являющиеся стадиями ее онтогенетической эволюции: моторная (развитие врожденных движений и запоминание новых), первоначально осваиваемая в младенчестве; аффективная, или эмоциональная (непроизвольная фиксация эмоциональных переживаний), также имеющаяся у младенцев; образная (спонтанное запечатление сложных образов, объединяющих зрительные, слуховые и другие модально-специфические сигналы), появляющаяся в раннем детстве (на втором году жизни); логическая (память на вербальные сигналы и их последовательности), формирующаяся в дошкольном возрасте (начиная с трех-четырех лет) и

достигающая наивысшего развития в младшем школьном [Блонский 2001: 29-37]. Современные психологи, как правило, выделяют в онтогенезе три вида памяти – эмоциональную, образную и словесно-логическую [Марютина, Ермолаев 1997: 138-139].

Информация, фиксируемая детской памятью, имеет конкретно-чувственный характер и принадлежит определенной модальности. В числе первых (младенчество и раннее детство) запоминаются двигательные, вкусовые, обонятельные и слуховые ощущения. Немаловажно, что и в содержании воспоминаний взрослых о своем детстве автобиографические события могут также воссоздаваться посредством определенных модальных «кодов», среди которых важнейшая роль принадлежит перечисленным выше онтогенетически наиболее ранним: *«В самом отдаленном периоде детства, для меня уже почти незапамятном, ближе мне была мать. Мать я чувствовал как весь окружавший меня мир, в котором я еще не умел различать отдельных предметов, – как теплоту и свет яркого солнца, на которое меня выносили, как полюбившееся мне купанье в корытце, как сладкую теплоту материнского молока. Мне тепло и приятно было у нее на руках, была приятна близость ее рук и груди, ее голос; я узнавал ее по знакомому запаху и по чему-то особому, еще кровно соединявшему нас, и, чувствуя ее запах, слыша знакомый звук голоса, смеялся, всем тельцем лез из пеленок. Отец казался чем-то огромным, колючим, пахнувшим менее приятно. И мать тогда наполняла меня, вливалась в широкий, ослепительный и непостижимый мир, окружавший меня в первые дни моего детства. Сливался и я с этим видимым, слышимым, осязаемым мною миром»* [Соколов-Микитов 1985: 43].

В интересующих нас текстах события детства воспроизводятся главным образом в слуховой модальности. Важно подчеркнуть особую значимость слуховых ощущений и их запоминания на начальной ступени онтогенеза ребенка. Как установили нейрофизиологи, уже в пренатальный (предшествующий появлению на свет) период развития плодом переживаются акустические сигналы. Известно, что в возрасте всего 20 недель нормально развивающийся зародыш имеет

слуховой аппарат, по структуре сравнимый с органом слуха взрослого, благодаря чему еще до оформления визуального канала коммуникации он способен распознавать ритм материнского сердцебиения и даже звуки внешнего мира. Столь значимая роль слуховых ощущений объясняется в частности тем, что они отмечены большей эмоциональной интенсивностью по сравнению с ощущениями других модальностей. Показательно, что именно реакцию на звук психологи считают одним из основных маркеров перехода от периода новорожденности к младенческому возрасту (он приходится на второй месяц жизни), когда ребенок начинает отвечать улыбкой на звучание человеческого (прежде всего материнского) голоса, криком – на крик другого ребенка, проявлять интерес к звукам, издаваемым им самим [Валлон 1990: 131; Выготский 1997: 56, 60; Декер-Фойгт 2003: 24-25; Нуркова 2000: 258-259].

Слуховой опыт ребенка наиболее активно складывается при регулярном восприятии им классической музыки. Особенно важны подобные звуковые впечатления в последние полгода внутриутробной жизни: в вокализациях детей, пренатальное развитие которых протекало под звуки классики, уже с двух месяцев обнаруживаются музыкальные элементы [Tafuri, Villa 2002: 73-88]. Именно в таких условиях формировалось музыкальное дарование будущего композитора С. Прокофьева, о чем он напишет впоследствии в своих воспоминаниях: «<…> *Мать добивалась возможно лучшего исполнения разучиваемых вещей, относилась к работе любовно и интересовалась исключительно серьезной музыкой. Последнее сыграло огромную роль в воспитании моего музыкального вкуса: от рождения я слышал Бетховена и Шопена и в двенадцать лет помню себя сознательно презирающим легкую музыку. Когда мать ждала моего появления на свет, она играла до шести часов в день: будущий человечишка формировался под музыку*» [Прокофьев 1980: 30].

Современные ученые пытаются установить, когда у ребенка появляется автобиографическая память. Считается, что примерно до трех лет (в период так называемой «детской амнезии») сложившейся памяти подобного рода у него нет. Тем

не менее, и в это время дети запоминают отдельные наиболее яркие факты. Таковы в частности стрессы, вызванные физической болью или эмоциональным потрясением и оставляющие «психические рубцы», которые сохраняются в дальнейшем и проявляются в критические моменты. Но поскольку события собственной жизни не объединяются маленьким ребенком в целостную последовательность, его память о себе называют эпизодической. Характерно, что автобиографические воспоминания, воспроизводящие жизненные ситуации первых детских лет, эксплицируются намного позже, чем были зафиксированы, отчего в течение какого-то времени они существуют в скрытой форме [Нуркова 2000: 141, 240].

Нижнюю временную границу воспоминаний взрослых о детстве психологи относят примерно к полутора-двум годам, то есть к раннему возрасту. В автобиографической прозе неоднократно фигурирует другой рубеж – младенчество (скорее всего это переходная фаза между младенческим и ранним детством). Одним из примеров такого рода может служить фрагмент из семейной хроники С. Аксакова: *«Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы… Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать»* [Аксаков 1955: 287]. И

хотя эти факты гипотетичны и требуют экспериментальной проверки, их, думается, все же следует принять во внимание.

Анализ литературных фрагментов целесообразно осуществлять в междисциплинарном поле этномузыкологии, музыкознания, этнографии и детской психологии. Главное внимание необходимо, по нашему мнению, уделить неоднократно повторяющимся в разных источниках сведениям, по-видимому, и заключающим в себе типовые признаки рассматриваемого явления.

В качестве центральной категории, сквозь призму которой может быть рассмотрена избранная проблема, предлагается принять понятие *«ребенок интонирующий».* По Б. Асафьеву, интонирование объединяет соравноценные процессы музыкального творчества («внутреннее интонирование», подразумевающее перевод мышления и чувствования творца на язык звуков), исполнения («звуковоспроизведение мыслимого») и восприятия, которое трактуется как «слушание-слышание, тоже как культурное становление: как восприятие-деятельность познавательного порядка, связанное с эволюцией слуха, слухового внимания, слуховой памяти…» [Асафьев 1957: 202, 270]. Связующим звеном, интегрирующим названные процессы в единое целое, является интонация, понимаемая как полиэлементное образование, где темброво-артикуляционные, громкостные, ритмические, темповые, звуковысотные параметры взаимодействуют друг с другом в устремленности к одному смыслу.

Сквозь призму интонирования просматриваются наиболее существенные стороны детской звуковой деятельности. Помимо прочих факторов, это вызвано тем, что интонационные процессы регулируются главным образом правым полушарием головного мозга, играющим в детской активности, особенно на начальных ступенях возрастного развития, ведущую роль. Согласно исследованиям физиологов и психологов, между двумя полушариями головного мозга существует дифференциация функций в обеспечении различных психических процессов. Наиболее ранним в онто- и филогенезе является правое полушарие. Оно осуществляет непроизвольную регуляцию психических операций; отвечает за узнавание и конкретно-

образный способ переработки информации; продуцирует образы сновидений; способствует целостному усвоению внешних сигналов, дающему возможность одномоментного «схватывания» различных свойств объекта в их взаимодействии; в звуковой сфере ориентировано прежде всего на различение интонаций (музыкальных и речевых) и формирование по ассоциативному принципу словаря целостных интонационных эталонов; в содержании мышления, симультанного и синтетического, адресуется к прошлому и настоящему опыту – биологическому, социальному, кинетическому, вокальному, речевому и др. В отличие от правого, левому полушарию, формирующемуся позднее и особенно актуализирующемуся в деятельности ребенка начиная с рубежа дошкольного и младшего школьного возраста, присущи абстрактный (вербально-логический) способ переработки информации; произвольная регуляция психической деятельности; оперирование абстрактными символами; в звуковой области – внимание к отдельным элементам выразительности (ритм, синтаксис, лад); в содержании мышления, в данном случае дискретного и аналитического, – опора на настоящий и будущий опыт [Кирнарская 2004: 57-58; Марютина, Ермолаев 1997: 159-164; Медушевский 1993: 58].

Исходя из сказанного, можно выделить два взаимосвязанных аспекта, с позиций которых, на наш взгляд, продуктивно изучение феномена «ребенок интонирующий». Таковы а) освоение детьми звучаний окружающей среды и формирование на этой основе их интонационного опыта, включающего словарь звукоидей и комплекс представлений о звуковых явлениях; б) использование приобретенного опыта в спонтанном процессе порождения / воспроизведения звуковых текстов.

З в у к о в у ю с р е д у обитания человека принято обозначать терминами «звуковой пейзаж», «звуковой ландшафт», «звукосфера», «фоносфера», «звуковая атмосфера» и др. Независимо от используемой терминологии данное понятие трактуется исследователями как окружающее индивидуума целостное аудиальное поле, определенным образом воспринимаемое и интерпретируемое им [Shafer 1977: 7; Полищук 2003: 317-319].

В обобщающем труде канадского композитора Р. Мюррея Шефера «Настройка мира» («The Tuning of the World»), специально посвященном теории звукового пейзажа, описаны главные составляющие этого феномена: «основной тон» – воспринимаемый бессознательно звуковой комплекс, обусловленный географией и климатом; «звукознаки» – явления, сформированные культурой и воспринимаемые осознанно; «архетипические», то есть символические звучания, наследуемые из далекой древности и воспринимаемые как бессознательно, так и осознанно [Shafer 1977: 28].

Все звуковые пейзажи мира Шефер относит к трем типам. Первый – «природный», порожденный водой, ветром, лесами, равнинами, птицами, насекомыми и животными определенной местности. Он обладает способностью наиболее глубоко и всеобъемлюще влиять на человеческое поведение, настроение, формировать характер людей и их культуру. Для будущего религиозного философа, искусствоведа и филолога П. Флоренского, с четырех с половиной лет жившего на берегу Черного моря в Батуме, основным тоном в природном звуковом пейзаже морского побережья была изменчивая звуковая стихия воды, где смешивались шумы, удары волн, звон отдельных капель: «*Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков* <…>» [Флоренский 1992: 49-50].

Два других типа пейзажей – «сельский» и «городской» – складываются в определенных социокультурных контекстах.

Компонентами сельского пейзажа являются звуки пастбища, фермы, охотничьи и почтовые сигналы, а его звуковой доминантой – тишина (не абсолютная, а относительная,

понимаемая как «не-шум»). «Хай-фай» (высококачественный) звукопейзаж – так определяет Шефер сельскую звуковую среду: «Система хай-фай – единственная, обладающая удобным сигнально-шумовым коэффициентом. Звукопейзаж хай-фай – единственный, в котором отдельные звуки могут быть слышимы отчетливо, поскольку шумовой уровень среды низок. Деревня, в целом, более хай-фай, чем город; ночь более, чем день; древние времена более, чем современные. В звукопейзаже хай-фай звуки меньше перекрываются частотно; есть перспектива – передний план и задний план <…> Тихое окружение звукопейзажа хай-фай позволяет слышать более отдаленно на расстоянии…» [Shafer 1977: 43]. Л. Толстым в повести «Детство» воссоздана запомнившаяся с детских лет яркая звуковая картина дневного села – картина радостная, состоящая из всевозможных звучаний, порождаемых людьми, животными, насекомыми, птицами на фоне солнечного света и теней, бело-лиловых облаков и светло-желтого жнивья: «*<…> Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, – все это я видел, слышал и чувствовал*» [Толстой 1978: 21].

Городской звуковой пейзаж – «лоу-фай» (пейзаж низкого качества) – складывается из уличных выкриков, звуков техники, транспорта, радио, телевидения, приводящих к перенасыщению города шумами и даже негативному восприятию тишины как маркеру опасности, страха, смерти, одиночества. По словам Шефера, «в звукопейзаже лоу-фай индивидуальные звуковые сигналы неотчетливы из-за слишком большой плотности звуков. Понятные звуки – походка по снегу, церковный колокол через долину или стремительное движение животного в кустах – замаскированы широкополосным шумом. Перспектива потеряна» [Shafer 1977: 43]. Один из признаков городского пейзажа – звуковая избыточность: «Лоу-фай звукопейзаж возник со звуковой перегрузкой. Индустриальная революция представила множество новых звуков с несчастливыми

последствиями для многих природных и человеческих звуков, которые они затмевали. Это развитие было расширено во второй фазе, когда Электрическая революция добавила новые эффекты, свои собственные, и представила устройства для упаковывания звуков и передачи их шизофонически через время и пространство к жизни, усиленными или размноженными существованиями» [Shafer 1977: 71]. Герой автобиографической повести В. Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», мальчик дошкольного возраста, в звуковом пейзаже родной Одессы улавливает множество наслаивающихся друг на друга звучаний, которые кажутся ему музыкой, «недоступной взрослым, но понятной маленьким детям»: «*Долго я не мог это понять, но однажды совершенно неожиданно понял: это было нечто составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения нищих слепцов, посвистыванья итальянских шарманок…*

Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям» [Катаев 1977: 46-47].

Принимая описанные Шефером природный, сельский и городской пейзажи в качестве основных векторов в систематизации детских слуховых впечатлений, мы допускаем существование промежуточных явлений, тем или иным образом объединяющих звучания, свойственные селу и городу. Такова, например, звуковая атмосфера провинциальной дворянской усадьбы, таковы звучания, характерные для маленьких городков, заводских поселков, и т.д. И даже в условиях одного города дети из разных групп населения приобретают неодинаковый слуховой ресурс: так, в семьях горожан, имеющих высокий социальный статус, ребенок рано

приобщается к профессиональной музыке, тогда как в демократической городской среде он знакомится прежде всего с народными обрядами, бытовыми песнями, наигрышами, что сближает его интонационный опыт с опытом сельских детей.

Содержательное истолкование звуковых пейзажей, представленных в мемуаристике, предполагает выявление смыслов, которыми эти пейзажи наделяются при восприятии человеком. Обозначая условные этапы освоения звукового пейзажа, Т. Цивьян исходит из того, что сначала индивид, вступающий в звуковой мир, «должен оказаться в хаосе звуков, воспринимаемых как некий нерасчлененный шум (нечто вроде настройки оркестра перед концертом – но и здесь опытное ухо может различить разные “голоса”). Осваиваясь в мире и осваивая его, человек придает нерасчлененному звучанию статус знаковости, что позволяет ему переходить к содержательной интерпретации этого, как ему казалось, хаотически-случайного комплекса. Каждый звук помещается в *свое* время и место и связывается с определенным объектом. Звук становится сигналом-указателем, дешифрующим ситуацию; в определенных случаях его одного достаточно для ориентации и определения некоего “жизненного сюжета”. <…>

Так происходит семиотизация звукового пейзажа, то есть отбор и содержательная интерпретация звуков, прежде всего природных. Далее, из пассивного наблюдателя, классификатора, определившего, *кто/что, где, когда* и *как* производит звуки, человек превращается в активного деятеля, который, во-первых, производит звуки сам <…> и, во-вторых, может, случайно или намеренно вызывать звучание *другого*, в соответствии с той же схемой *кто/что, где, когда* и *как*» [Цивьян 2000: 75].

Получаемые из окружающей среды аудиальные сигналы с помощью процессов ощущения, восприятия и представления превращаются в определенные звуковые образы, отчасти существующие в психической сфере, отчасти объективируемые ребенком в слове или собственных звуковых текстах. Важную роль в возникновении подобных образов играет механизм ассоциации, имеющий условнорефлекторную природу и устанавливающий связь между смежными психическими процессами, при которой появление одного из них влечет за

собой возникновение другого. Например, различные звучания, наряду со слуховыми, могут вызывать кинетические, зрительные, тактильно-осязательные, пространственные ощущения. Базой ассоциаций служит жизненный опыт человека, включающий три взаимосвязанных элемента: сенсорный опыт (полученный через органы чувств), кинетический (моторно-динамический) и социальный (почерпнутый в общении) [Кулагина 1998: 61-63, 72, 90; Назайкинский 1972: 78; Нуркова, Березанская 2006: 240-275].

У ребенка названные механизмы формирования звуковых образов последовательно складываются в ходе онтогенеза: в младенческом и раннем возрасте контакты со звуковой средой осуществляются на основе процессов ощущения и восприятия, начиная с рубежа раннего и дошкольного детства постепенно включается процесс представления. Многие страницы автобиографических произведений посвящены описанию детских ассоциаций, связанных со звуком. Вслушиваясь в звучания рояля, напоминающие то раскаты грома, то колокольные перезвоны, то звон стекла, маленький Кристоф (Р. Роллан. «Жан Кристоф») истолковывает их как неведомые силы, а сам процесс звукоизвлечения – как магический акт вызывания духов: «*<…> С бьющимся сердцем он кладет палец на клавишу, отнимает его, не нажав до конца, кладет на другую… Какую выбрать? Что скрыто в этой? А что вон в той? Внезапно рождается звук – иногда он низкий, иногда высокий, иногда звенит, как стекло, иногда раскатывается, как гром. Кристоф подолгу вслушивается в каждый, он следит за тем, как постепенно затихают и гаснут звуки… При этом они словно бы колеблются, становятся то громче, то слабее, как колокольный звон, когда его слышишь где-нибудь в поле и ветром его то наносит прямо на тебя, то относит в сторону. А если хорошенько прислушаться, то там, в глубине, можно различить еще и другие голоса – они переплетаются, порхают, вьются, как рой мотыльков, они словно зовут, увлекают тебя куда-то… все дальше, дальше… в ту таинственную даль, где они тонут и замирают… Исчезли… Нет! Еще слышен их лепет… Биение крыльев… Как все это странно! Они – точно духи. А вместе с тем они повинуются тебе: сидят вот*

запертые в этой старой коробке! Нет, это просто удивительно!

Но лучше всего получается, когда положишь один палец на одну клавишу, а другой на другую и нажмешь обе сразу. Никогда нельзя наперед сказать, что из этого выйдет. Иногда эти два вызванных духа оказываются врагами: они сердятся, дерутся, ненавидят друг друга, они обиженно ворчат; их голос превращается в крик, порою гневный, порою жалобный. Кристофу это страшно нравится: ему чудится, что это два скованных чудовища грызут свои цепи и бьются в стены своей тюрьмы – вот сейчас они сбросят путы и вырвутся на свободу, как те джины, о которых говорится в арабских сказках, – могучие духи, запертые в ларец и запечатанные печатью Соломона. А другие как будто хотят подольститься к тебе, они ласкаются, заигрывают, но чувствуешь, что они вот-вот укусят – какие-то они беспокойные. Кристоф не понимает, чего они хотят, но они и привлекают его, и тревожат – он даже слегка краснеет от смущения. А есть звуки, которые любят друг друга: они обнимаются и целуются, как люди; они ласковые и прелестные. Это добрые духи; у них нежные, смеющиеся лица, без единой морщинки; они любят маленького Кристофа, и Кристоф их любит; он слушает их со слезами на глазах и готов вызывать их снова и снова. Это его друзья, дорогие, любимые друзья…

Так бродит ребенок в чаще звуков, ощущая вокруг себя тысячи неведомых сил, которые манят его и подстерегают – то ли чтобы приласкать, то ли чтобы поглотить…» [Роллан 1955: 71-72].

В сфере спонтанного порождения / воспроизведения звуковых текстов (преимущественно вокальных), неразрывно связанной с разными сторонами активности ребенка (движения тела, мимика, жесты и др.), формируется несколько типов вокализаций, каждый из которых осваивается на определенной ступени онтогенеза. Как показано в монографии автора этих строк «Акустический Текст ребенка…» [Калужникова 2004], к ним принадлежат младенческие вокализации-глоссолалии (от греч. *glōssa* непонятное слово + *laleō* говорю – сочетания асемантических

слогов и звуков, обнаруживающие некоторые признаки связной речи), вокальные, в редких случаях – инструментальные импровизации, исполняемые в играх либо бытовых ситуациях, игровые монологи, фольклорные и авторские песни, вокально артикулируемые фрагменты сказок, анекдотов, историй собственного сочинения. Есть все основания считать перечисленные типы звуковых текстов своеобразными жанрами детского спонтанного интонирования. И хотя подчас они не имеют прямых аналогов в жанровой системе фольклора и профессиональной музыки, тем не менее, в них обнаруживаются все универсальные признаки жанров, характерных для музыки устной традиции: наличие доминантной функции, специфического интонационного словаря, особых темброво-артикуляционных средств, структурных закономерностей, бытование в определенных контекстах и коммуникативных ситуациях. В повести «Приключения Тома Сойера» М. Твена мальчик из маленького американского городка, играя в пароход, воображает, что он «и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время…». Игра сопровождается игровым монологом, где словесные ролевые реплики чередуются с вокальными фрагментами, имитирующими звуки отплывающего судна посредством изобразительных интонаций: среди них «протяжный мелодический свист», «звуки на самых низких нотах», ономатопеи «дин-дон-дон, дин-дон, дон»: «*Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал – верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: “Дин-дон-дон, дин-дон-дон”, так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся не торопясь заворачивать, осторожно, с надлежащей важностью, потому что представлял собою “Большую Миссури”, сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать,*

будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее.

– Стоп машина, сэр! Динь-дилинь, динь-дилинь-динь!

Пароход медленно сошел с середины дороги и стал приближаться к тротуару.

– Задний ход! Дилинь-дилинь-динь!

Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам.

– Задний ход! Право руля! Тш, дилинь-линь! Чши-чши-чши!

Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в сорок футов.

– Лево на борт! Лево руля! Дилинь-динь-динь! Чши-чши-чши!

Теперь левая рука начала описывать такие же круги.

– Стоп, правый борт! Дилинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперед и направо! Стоп! Малый ход! Динь-дилинь! Чуу-чуу-у! Отдай конец! Да живей, пошевеливайся! Эй, ты, на берегу! Чего стоишь? Принимай канат! Носовой швартов! Накидывай петлю на столб! Задний швартов! А теперь отпусти!

Машина остановлена, сэр! Дилинь-динь-динь! Шт! шт! шт! (Машина выпускала пары.)» [Твен 1985: 20-21].

Характерно, что жанры спонтанного пения тесно связаны с ведущим для каждого возраста видом деятельности ребенка: в младенчестве глоссолалии малыша включаются в процесс его непосредственно-эмоционального общения с взрослыми; в раннем детстве игровыми импровизациями зачастую сопровождаются предметные манипулятивные действия; игры дошкольников озвучиваются игровыми импровизациями, монологами, считалками и припевами; у младших школьников учебная деятельность соотносится со школьным фольклором, а в их личностном общении со старшими и сверстниками нередко присутствуют игровые импровизации и песни. Столь всеобъемлющее значение интонирования (прежде всего пения), свойственное самовыражению ребенка, напоминает о тех исторических периодах развития культуры, когда музыка была основным средством коммуникации между людьми – с одной стороны, между людьми и высшими силами – с другой.

Рассмотрение спонтанной звуковой самореализации ребенка на материале автобиографической прозы позволяет выявить

особенности функционирования феномена «ребенок интонирующий» на разных ступенях онтогенеза и отыскать ответы на следующие – наиболее существенные с точки зрения заявленной проблемы – вопросы:

а) какие аспекты спонтанного самовыражения в звуках, характерные для каждого периода возрастного развития ребенка, сохраняются в памяти взрослого человека?

б) в чем состоит специфика звуковой деятельности детей в селе и городе, в прошлом и настоящем?

в) находят ли развитие те или иные формы звукореализации ребенка в его будущей профессии?

г) обнаруживаются ли соответствия между закономерностями, запечатленными русскими и зарубежными авторами воспоминаний о детстве?

Бесспорно, каждый названный вопрос может и должен послужить предметом отдельного изыскания, где будут широко привлекаться данные различных областей научного знания и результаты исследовательских экспериментов. Однако видение исследуемого явления «изнутри» возникает только при изучении автобиографических материалов. В этом заключается их уникальность и исключительная ценность для науки.

Литература

Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука / С.Т. Аксаков // Собр. соч.: в 4-х т. – М., 1955. – Т. 1.

Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Книга вторая. Интонация / Б.В. Асафьев // Избр. труды: в 5 т. – М., 1957. – Т. 5.

Блонский П. Память и мышление / П. Блонский. – СПб., 2001.

Валлон А. Истоки характера у детей. (Ч. III. Самосознание). Пер. с фр. / А. Валлон // Вопросы психологии. – 1990.– № 5.

Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. – СПб., 1997.

Декер-Фойгт Г.-Г. Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт. – СПб., 2003.

Калужникова Т.И. Акустический Текст ребенка (по материалам, записанным от современных российских городских детей): монография / Т.И. Калужникова / УГК им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2004.

Катаев В. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона / В. Катаев // Избр. произведения: в 3-х т. – М., 1977. – Т. 2.

Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности: учеб. пособие / Д.К. Кирнарская. – М., 2004.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет: учеб. пособие / И.Ю. Кулагина. – М., 1998.

Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: учеб. пособие / Т.М. Марютина, О.Ю. Ермолаев. – М., 1997.

Медушевский В. Интонационная форма музыки / В. Медушевский. – М., 1993.

Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. – М., 1972.

Нуркова В.В. Свершенное продолжается. Психология автобиографической памяти личности / В.В. Нуркова. – М., 2000.

Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология: учебник для студентов вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – М., 2006.

Нуркова В.В., Василевская К.Н. Автобиографическая память в трудной жизненной ситуации: новые феномены / В.В. Нуркова,

К.Н. Василевская // Вопросы психологии. – 2003. – № 5 (сентябрь-октябрь).

Нуркова В.В., Митина О.В., Янченко Е.В. Автобиографическая память: «сгущения» в субъективной картине прошлого / В.В. Нуркова, О.В. Митина, Е.В. Янченко // Психологичесий журнал. – 2005. – Т. 26. – № 2.

Нюбина Л.М. Парижские картинки в автобиографической прозе К. Манна и С. Цвейга / Л.М. Нюбина // Феномен «город» в картине мира человека: сб. науч. статей / Под общ. ред. Л.М. Нюбиной. – Смоленск, 2006.

Полищук М.А. Исследования звукового ландшафта за рубежом (информационный обзор) / М.А. Полищук // Аудиовизуальные архивы на рубеже XX – XXI веков (отечественный и зарубежный опыт): сб. статей / Сост. В.М. Магидов, Е.Л. Иванова; под ред. В.М. Магидова. – М., 2003.

Прокофьев С. Детство / С. Прокофьев. – Изд. 4-е. – М., 1980.

Роллан Р. Жан-Кристоф. Пер. с фр. / Р. Роллан // Собр. соч.: в 14 т. – М., 1955. – Т. 3.

Shafer R.M. The Tuning of the World / R.M. Shafer. – N.Y., 1977.

Соколов-Микитов И. Детство / И. Соколов-Микитов // Собр. соч.: в 4-х т. – Л., 1985. – Т. 1.

Tafuri J., Villa D. Musical elements in the vocalisations of infants aged 2–8 months / J. Tafuri, D. Villa // British Journal of Music Education. – 2002. – Mar. – Vol. 19 (1).

Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна. Пер. с англ. / М. Твен. – Свердловск, 1985.

Флоренский П. (священник). Детям моим. Воспоминанья прошлых дней / П. Флоренский (священник) // Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание / Сост. игумена Андроника (Трубачева), М.С. Трубачевой, Т.В. Флоренской, П.В. Флоренского; предисл. и коммент. игумена Андроника (Трубачева). – М., 1992.

Цивьян Т.В. Звуковой пейзаж и его словесное изображение / Т.В. Цивьян // Музыка и незвучащее: сб. статей / Редкол.: Вяч. Вс. Иванов, Е.В. Пермяков (отв. ред.), Т.В. Цивьян. – М., 2000.

© Калужникова Т.И., 2007

Н.И.Коновалова
Екатеринбург

Показания языкового сознания как компонент лексикографического представления сакрального текста

Активно разрабатываемая в последние десятилетия этнолингвистическая и лингвокогнитивная лексикография «знаков культуры», существующая в разных вариантах, свидетельствует об актуальности словарного представления отдельных фрагментов русской языковой картины мира. В этом смысле интересным представляется создание проекта словаря сакральных текстов (далее – СТ), аналога которого в лексикографической практике нет. Можно отметить лишь включение отдельных сакральных характеристик в словарные статьи диалектных, историко-этимологических, фразеологических, этнолингвистических и некоторых других словарей.

Для лексикографического представления СТ особо значимым нам представляется обращение к показаниям языкового сознания носителей современной русской культуры и отражение их в том или ином виде в словарных дефинициях. При этом следует, очевидно, учитывать две ситуации, определяющие выбор конкретных лексикографических техник семантизации СТ: 1) сакральная информация об обозначаемом формально выражена (темой СТ, внутренней формой слов или номинативных словосочетаний, входящих в его состав, сакрально маркированными онома, языковыми единицами, представляющими базовые компоненты феномена сакральности и т.п.); 2) сакральная информация формально не выражена (текст не содержит лексических маркеров сакральности, представляется на первый взгляд профанным, исходные сакральные смыслы без дополнительной информации не «считываются»).

В первом случае (**при наличии маркеров сакральности**) возможность выявления, осознания сакральной информации носителями языка достаточно реальна, хотя ее смысловая «глубина» может быть различной, поскольку основана на разного рода языковых и внеязыковых ассоциациях и

обусловлена в значительной степени общекультурной компетенцией языковой личности. Для лексикографического представления такого рода фактов достаточно интерпретации внутренней формы сакрально маркированных элементов СТ, их денотативной «привязки» и/или пояснения системных (внутрипарадигматических или межпарадигматических) связей, поскольку сакральный компонент составляет основу семантики этих единиц.

В качестве лексикографических техник семантизации компонентов СТ в данном случае может использоваться:

1. Толкование компонентов СТ через отсылку к сакрально маркированному мотиватору. Приведем фрагмент комментария к описанию регламентации обряда «хождения на кашу»: *На кашу обязательно подарок несли: пелёнку, рубашки, платки, полотенца. Одаривали, когда смотрели ребенка, но быстро и молча. Чтоб не сглазить. Говорят, дескать, хочь словам, хочь тяжёлым глазом одинак *изуро́чат дак. А ба́ушка ту́то же с *баёвкой, пошо́пшот, *поба́ит ли, знатка́ дак, знат, чё надо *ба́леть* (Паршино, Богд.).

**Баёвка* – трава, с помощью которой «бают» знахарки, измеряют ее «шепотками» для заговоров на снятие порчи, сглаза (ср.: **ба́ить // ба́лить // ба́леть* – ‘шептать, знахарить, заговаривать’).

**Изурочить* – нанести вред здоровью, испортить кого-либо (чаще ребенка) словом или взглядом (ср. *урок* – сглаз, *урекать* – напускать на кого-либо порчу).

2. Выявление базовых сакральных смыслов через денотативные или понятийные компоненты. В качестве примера приведем фрагмент комментария к описанию того же СТ – регламентации обряда «хождения на кашу»:

На кашу[1] *(идти, пойти, ходить, приглашать, звать)* – 1. Обед после свадьбы, на который молодожены приглашают родню. Как правило, проходит в доме, где будут жить молодые. Невестка впервые выступает в качестве хозяйки дома: варит обед и обязательно ритуальную кашу, символизирующую достаток в доме, дарит подарки свекрови и родне мужа. *Эк-ту она свекровке на кашу ша́лку подарила, ба́ссиньку, уж больно старалася ей пондравиться* [Тугул.] 2. Званый вечер после

крестин. *Хрёстна на кашу приглашо́на дак, робёнощкя-то в церкве уж окрестили, щас дома гулянка будёт* [Никольское, Камышл.]. 3. Семейный праздник (*отжи́нки*), знаменующий окончание хлебоуборочных работ. *Васькя к имя' на кашу повилялся, щас не дождать его, ему за один край, хоть отжинки, хоть зажинки, лишь бы по́дали* [Алап.].

На кашу [2] *(жить, жить без худобы).* ◊ На кашу жить без худобы – жить хорошо, удачливо. *Красота! Жить на кашу без худобы – говорят, когда что-либо удается* [СРНГ, т.13: 149].

Ср. также вариант комментария к страшилке о привидениях:

У нас в Зарубиной есть один старый заброшенный дом, в котором много лет уж никто не живёт. Окна в нём повыбиты, ставни оторваны. Ворота покосились, палисадник выпал, забор вывалился, столбы изгнили. Стоит этот дом почти что в центре деревни, но никто не хочет его ремонтировать и жить в нём. В этом доме в полночь появляется дух в шляпе и в белом плаще. Этот дом все обходят десятой дорогой даже днём, говорят, что когда-то давно там жил молодой мужчина, который уехал в город искать счастья. И как в воду канул: то ли умер он там, то ли убили, только дом пустовать остался. Заселился в этот дом мужчина, у которого сгорел от пожара дом, и жить ему было негде, вот он и поселился в нём. И вот однажды человек в чёрной шляпе явился в полночь и задушил его. На другой день нашли мужика мёртвым, а на шее у него чёрный след от удавки, а удавки нигде нет. Стали дом караулить да следить, кто туда ходит. Да так и не дождались. Как-то вечером молодёжь возвращалась с гулянья и увидела, что кто-то стоит у этого дома в белом плаще и шляпе. Подошли поближе, а там никого нету, только кусты зашумели. Испугались парни да девчата такого виденья и бежать. Прибежали, рассказали всё, что видели, но им никто не поверил. Потом его ещё не раз видали возле этого дома ночью, но подходить близко боялись. Вот дом-то и разрушился – никто его ремонтировать не хотел – боятся люди мести человека в плаще за отобранный у него дом. А ещё люди говорят, что душа его место себе выбрать не может, потому как тело, наверное, не предано земле до сих пор. Вот*

схоронить бы его, и дух бы здесь больше не появился, успокоился навсегда (д. Зарубино Талиц.).

**Дух – привидение.* В славянской демонологии – духи умерших неестественной смертью, самоубийц и грешников. Могут принимать образ человека, ребенка, девушки или женщины, а также животного, гусыни, лебедя или человекообразной фигуры с козьими ногами [Капица 2003: 97]. Считается, что привидения появляются, если тело умершего не предано земле, если он не простил кому-то из оставшихся в живых обиду или если у него осталось какое-то очень важное незавершенное дело.

3. Толкование через анализ системных связей единиц одной парадигмы. Ср. комментарий к описанию регламентации обрядов взаимодействия с деревенскими знахарями и знахарками, демонстрирующий различия семантической структуры родовых коррелятов:

**Знахарь* и **знахарка* в народной традиции характеризуются как общими, так и отличительными признаками. С одной стороны, это немолодые люди, обладающие тайным знанием (*знаткой, знаткая // знат, знатка // знатливый, знатливая // знатник, знатница* и т.п.), способные лечить (*лекарь* // *лекарка*), предсказывать судьбу (*гад* // *гадалка* и номинации общего рода *гадина, гадала*), колдуны, насылающие порчу (*волхит* // *волхитка*), колдующие на корнях деревьев (*коренщик* // *коренщица*). С другой стороны, отмечается набор характеристик, свидетельствующих об их «специализации», что находит выражение в соответствующих номинативных вариантах.

Знахарь: а) тот, кто знает тайны охраны скота, помогает во время охоты; б) дает бережье (ладанку) от порчи и сглаза = *бережчик* [СРНГ, т.2: 251]; в) занимается бесплатным лечением = *бесплатник* [СРНГ, т.2: 272]; г) насылает грыжу, килу = *грыжевак, киловед* [СРНГ, т.7: 175; т.13: 208]; д) заговаривает зубы = *воржец*, ср.: *во́речье* – заговор, заговариванье, нашептыванье знахаря [СРНГ, т.5: 99]; е) занимается лечением людей и животных = *коновальщик* [СРНГ, т.14: 260].

Знахарка: а) повивальная бабка, акушерка = *повитуха, баба*; б) женщина, занимающаяся ворожбой = *ворожейка // ворожея*;

в) лекарка, знающая заговоры = *баси́ха* [СРНГ, т.2: 131]. Ср.: *басить* – лечить с помощью заговоров; г) лечащая болезни травами и нашептыванием = *закликуха // кликуха*. Ср.: *закликать* – воздействовать на кого-что-либо силой заговора, заклинания с лечебной или иной целью [СРНГ, т.10: 132]; д) примиряет мужа и жену с помощью заговоров, трав и других знахарских средств = *ладельщица* [СРНГ, т.16: 231]. Ср.: *ладить* – устанавливать лад, мир; е) может оборачиваться птицей, зверем, другим человеком = *опрокидка.*

См. также устойчивое противопоставление в традиционной народной культуре номинаций людей, обладающих «тайным» знанием (*колдунья – знатка – знахарка – вещица – баушка* и др.), осознаваемое современными носителями языка (говора), о чем свидетельствуют контексты, эксплицирующие системные связи лексем одной тематической группы: *Знатка́ – так говорят про женщин: «Она знатка́. Не знаткая, а знатка́». Так и говорят, они присушками всякими любовников присушивают. Знатких-то не любят, это не то, что лекарка или знахарка, здесь с нечистой связано, после их слов плохо людям быват, потому что она знатка́, знат чё-то нехороше.*

4. Толкование с опорой на контексты, свидетельствующие об этимологической рефлексии носителей языка (говора). Под этимологической рефлексией понимаем наличие в языковом сознании говорящих своеобразных реликтов исходного мотивационного значения слов с утраченной или затемненной внутренней формой[4]. Суть этимологической рефлексии заключается в том, что язык различными средствами способен сохранять «память о первоначальной изобразительности слова» [Буслаев 1851, 15], сигнализируя о признаке, положенном в основу наименования.

Об этимологической рефлексии свидетельствуют:

а) контексты-пояснения, обнаруживающие спорадическое восстановление исходного номинативного признака в словах с затемненной внутренней формой. При этом в качестве интерпретирующих компонентов используются этимологически

[4] См. об этом: [Гридина, Коновалова 1991; Коновалова 2001].

родственные ассоциаты (слова того же корня): ***мамоня // мамуна*** 1) ‘мифологический персонаж, обитающий в доме, ленивый и прожорливый’; 2) ‘нечистая сила, вредящая беременным женщинам и жеребым лошадям’. Ср. *мамон* ‘пузо’, *мамоня* ‘лентяй, обжора’ [МФ, т.II: 566]; ‘лентяй, вялый разиня, обжора, объедала’ [Даль, т.II: 296]: *Мамоня он мамон наедат, сам нечё не делат, а любит, чтоб его ублажали* (Богд.). *Мамуна заведётся, дак всё как в прорву, у ево мамун-от бездонной, сколь сробишь, столь и съес* (Богд.). *Если берёжа кобылка худеёт, знать-то мамуна завёлся, свой мамон наёдыват, а та и худеёт* (Богд.). *Чё баба с брюшка желат, то надо ей дать, и чтоб положила мамоне на шосток, он того же со своёго мамона желат, не дас, дак он сам заберет, и робёнок будёт худосочной* (Богд.). ***Гамка*** 1) ‘колдунья, несущая раздор в семью’; 2) ‘кликуша, женщина, в которую вселились бесы, орущая не своим голосом’ – из *гам* (?). Ср. *гама, гаметь, гамить* ‘шуметь’, *гамкать* ‘лаять’ [МФ, т.I: 390-391]; см. также *гам* ‘шум, громкая ссора’, *гамканье* ‘глухой, отрывистый лай’, *гамкала* ‘сварливый, вздорный человек’ [Даль, т.I: 343]: *Чё ты гамкашь, как гамка* (Байк). *Гамки – несчастны бабы, про одну сказывали, она у церквы пала, ох и поорала, ох и поорала, и кукарекала, и гамкала, и чё толькё не выделывала, да сильнуща, еле удёрживали, а нечё не спомнила потом и силами пала* (Камышл.);

б) <u>контексты, выявляющие актуальность исходного номинативного признака в семантике деэтимологизированных лексем</u>. ***Жихарь:*** предположительно от *жихать, -ся* ‘гнуть(ся), шатать(ся), качать(ся)’. Ср. с норв. диал. keis ‘изгиб’, keisa ‘бегать, бесноваться’ [МФ, т.II: 57]: *Жихари, беси, бесится не здеся* (Богд.). *Жихарь может сушиной обернуться, как коряга качатся, скрипит, наверно, голос такой, он не злой, он лес ото вреда охранят, может помогчи, поляну ягодну показать или место грибно* (Тугул.). ***Мара*** ‘призрак, грезы, наваждение’, диал. ‘домовой’, укр. ‘призрак, привидение’. Родственно *манить* ‘вводить в заблуждение, обманывать’, *маять, намаять* ‘дать знать знаком, обмануть’, болг. замая, омая ‘чарую, одурманиваю’, польск. majak ‘кружной путь, мираж’, далее сближают с др.-инд. māyā ‘превращение, видение, обман,

иллюзия’, dur-māyús ‘применяющий злые чары’ [МФ, т.II: 569, 571, 587]. *Мара ещё есть, она пакостница, работать не даёт, в поле в белом платье ходит в саму жару, в облаке таком, чё-то как бы кажется, детей пугат, если без присмотру оставлены, кто в поле, дак голову обносит* (Алап.).

Семантические связи такого рода позволяют установить соотносительность происхождения слова с одной из спорных этимологий. Например, ***обердиха:*** возможно, от *бердо* ‘деталь ткацкого станка’ [МФ, т.I: 152]: *У обердихи ручки тоненьки и остра мордочка, на голове у ей маленьки рожки, она их волосам прикрыват, как пакля таки волосы, днём сидит за печкой, а по ночам проказничат с прялкой, с шитьём, веретёшком, кто коверки ткёт, дак спутат ресунок* (Богд.). *Спи за работой, дак обердиха сробит за тя, потом не распуташь* (Богд.). Ср. также возможную связь с *бередить*, возникшим путем переразложения из **об-вередити* от *веред* ‘нарыв, гнойник, рана’, ‘вред, повреждение’ [МФ, т.I: 154, 295]: *Нельзя днем за печку глядеть, а то ночью обердиха напакостит* (Асб.). Не исключено образование в результате метатезы от *обдериха*, связанного с *драть, обдирать: Больше всех обердиха вредит по ночам животным, особенно курам, перо им дерёт, ещё овечкам, которы не стрижены, шёрсть клочьям дерёт* (Богд.); *Настькя выучилась стригчи, ак как обердиха клочкям всё выстригет, а фосону сколькё!* (Тугул.);

в) <u>контексты, в которых деэтимологизированные слова выступают с постоянным определением, приложением и т.п. лексическим ассоциатом, семантически дублирующим значение утраченного этимона</u>. ***Лошак*** ‘мифологический злой дух, оборотень, представляющийся в виде мужика с длинными кривыми ногами и козлиными копытами’. Предположительно, от *лоший* ‘дурной, плохой’. Эти слова считаются родственными гот. lasiws, ср.-нж.-нем. las ‘слабый, вялый’. Кроме того, допустимо предположение о родстве с греч. *λοξός* ‘кривой’, ирл. *losc* ‘хромой’ [МФ, т.II: 526]. Ср. также *лоха* ‘дура, глупая баба, дурища, дурында’ [Даль, т.II: 269]. *Лошак худой, лошак-дурак, лошак-плошак* (в последних случаях, по-видимому, отмечаются факты игрового употребления имени). Возможно также объяснение названия *лошак*, возникшего в результате мены е//о

из *лешак* на основе ложноэтимологического сближения с использованием продуктивной семантической модели образования названий нечистой силы по месту ее обитания. Такого рода сближение подтверждается рассказами о лошаке: *Лошак можот на бабе деревенской жениться, мужик и мужик, толькё глаза зелёным огонькям горят, да пуговицы у его не так застегнуты. Лошак можот подшутить и в чащобу завести, оттудова не выберёшься. Он капусту заячью любит, мясо не ест, внешностью такой весь обросший* (Богд.). Ср. также ложноэтимологические сближения с *лошадь* в контекстах, актуализирующих представления о зооморфном облике нечистой силы: *Лошак козлов не любит, за бороды дёргат, а лошадей выделят, косицы им заплетат, подкармливат, у другой скотины еду отберёт да лошаде дас, а кто говорит, что он сам, вроде, лошадь* (Асб.). *У их тамо-ка Федькя сказывал: заснул маленько, потом слышит, заржали, думал, цыгане опять, ли хто, скочил, а лошадь чужа рядом с ихними, потом пропала и не знат, чё думать, сколь-то раз приходила и пропадала, свои-те от ей шарахалися, а она на котору взбурит скося, так та и квёла ставала* (Тавд.);

г) <u>контексты, отсылающие к этимону и выявляющие разницу между первичным и вторичным значениями</u>. Этот тип этимологической рефлексии связан с обращением к этимону, развившему вторичное (часто оценочное) значение: ***доможир // доможил // жировой черт*** ‘домовой’. От *жир*, связано с *жить*, как *пир: пить*. Значение ‘корм, пища’ делает связь слов с *жить* наиболее вероятной. Ср. *жировать, жировой* ‘жить роскошно, кутить, расточать’ [МФ, т.II: 56-57]: *Доможирка с ложкой увидишь – оставь на шостке поись, это к сытой жизни, с мешком – к деньгам, если он тебе покажется худой – это к худой жизни, если толстый да гладкий – к богатству* (Богд.).

С одной стороны, контексты указывают на соотносительность с *жирный, толстый:* ср.: *сытый домовой* (Алап.), *кормленый домовой* (Слобод.), *гладкий такой, ухоженный* (Богд.). С другой стороны, отмечается восстановление исходной связи с *жить: Доможир – такой дух, в доме живет* (Камышл.). Отдельные контексты указывают на

семантическое слияние исходного и вторичного номинативного признаков (‘жить’ → ‘жить хорошо’ → ‘жировать’): *У зажиточных домовой* (Богд.). *Домовой, который хорошо живет* (Краснотур.). *Доможир лапой погладит ночью – к хорошему житью* (Средн.).

Семантической продуктивностью обладает вторичное значение этимона, более актуальное для синхронного употребления слова в языке. Ср.: ***бахарь*** ‘болтун, хвастун, колдун’, производное от *ба-*; ср. *баять, басня,* как *знахарь* от *знать* [МФ, т.I: 136]. Значение ‘хвастун’ развилось у *бахарь* в результате переосмысления исходного значения корня и последующей оценочной интерпретации глагольного действия: ‘говорить’ → ‘говорить много’ → ‘болтать’ → ‘хвастать’. *Услышишь, бахарь возится да стучит – точно напраслину на тебя болтают* (Богд.);

д) контексты, отражающие забвение исходного мотивационного значения, но актуализирующие исходную мотивационную форму. ***Памха*** ‘зло, вред, беда, неудача’. Из *па-* и *мох* (**па-мъха*) с первонач. знач. ‘иней’ [МФ, т.III: 195]. Ср. также *памха // помха // помеха* ‘зло, вред, беда или неудача, напасть, поветрие, повальная болезнь, мор’ [Даль, т.III: 14]: *Памхи маленьки, кошку когда напоминают или даже мышь, а вообще-то это некто, чё-то тако: не человек и не зверь, некто. Если в доме у кого будя памха есть, дак беда, ссоры, беспокойство, одне пакости от их* (Богд.). *Сейчас там болотина заросша стоит, раньше торф брали. Вот мы раз идем, а там баба гола сидит и волосы длинны чёшет. Мы испугалися, заорали, она в мохе пропала, а бабушка нам сказала, что это памха, мохова баба, она там давно живёт, её многи видали, это не к добру, кто увидит дак* (Камышл.);

е) контексты, включающие табуированные обозначения нечистой силы и эксплицитно представленное слово, подвергнутое условной замене. Соотнесение прямого и табуированного обозначений нечистой силы осуществляется в контексте-толковании посредством устойчивых словесных формул, нанизываемых одна на другую и употребляемых в качестве вариантных: ***ляд*** ‘нечистый, черт’ – замена слова *леший.* Обычно объясняют из *ледачий* ‘непутевый, негодный’

или из польск. ladaczy ‘черт’ [МФ, т.II: 549]: *На кой ляд, на кой леший он с имя связался* (Слобод.). Вариантные названия являются системно закрепленными и имеют лексикографическую фиксацию не только в диалектных словарях. Такого рода обозначения нечистой силы следует, по-видимому, считать уже десакрализованными и десемантизированными: они, как правило, имеют междометный характер, не выполняют номинативную функцию и выражают экспрессию (реже оценку). Ср. диал. выражение *на лешак напился* с пометой ‘бранное’ [Лютикова 2000: 74]; стилистически маркированные варианты фразеологических оборотов *на кой ляд // черт // бес // дьявол // шут // леший // пес // хрен // прах* ‘прост.’ [ФСМ: 519]; ср. также прост. ‘выражение негативного отношения, неудовольства, негодования и т.п.’ *да ну тебя (вас, всех вас, его, её, их) к ляду // к черту // к аллаху // к дьяволу // к бесу // к лешему // к бабушке* [Меликян 2001: 149].

Другой вариант семантизации выбирается, если **лексические маркеры сакральных смыслов отсутствуют**. Речь идет в частности об общеупотребительных словах, приобретающих сакральные смыслы только в комплексе с другими культурными кодами, или о предметах, действиях, признаках, выступающих в качестве символов определенного ритуала, обряда. Ср., например, комментарий к описанию СТ гадания: **Богатки, богачки, божанки, их на Ивана Купалу под потолок наторкают и загадают: если хорошо расцветет – будет богатым, а не расцветет – не будет.*

* *Богатка* – растение Erigeron: пушки, блошница, неувяда. Цветок, название которого происходит от народного гадания о богатстве. Накануне Иванова дня берут не совсем распустившиеся цветки, для каждого члена семьи по одному, кладут обыкновенно на божницу на ночь. Чей цветок распустится к утру, тому предсказывают счастья на целый год, у кого же не распустится – несчастье или смерть [СРНГ, т.3: 45].

Лексикографическая фиксация СТ и его компонентов должна в этом случае учитывать широкие внеязыковые пресуппозиции, связанные с обрядами, суевериями, фидеистическими представлениями. Ср. фрагмент комментария к регламентации обряда «хождения на кашу», эксплицирующий сакральные

смыслы символики дарения: «Любой пришедший проведать роженицу с новорожденным обязан был «подарить ребенка» чем-либо (хлебом, зерном, деньгами, ложкой, рубашкой и т.д.). Того, кто не принес подарка, наказывали, например, забрасывали его шапку за печь, чернили лицо сажей и т.п. От соблюдения правил обращения с даром, предназначенным новорожденному, зависела его судьба и здоровье: еду роженица должна была съесть быстро и с охотой, чтобы ребенок хорошо ел и впоследствии начал бы делать все, чему его учили, быстро и умело; ленту, которую новорожденный получал от крестных родителей, мать сохраняла весь первый год его жизни, чтобы у нее было много молока, и т.д.» [СД, т.2: 19-20]. Кроме того, дарение «на кашу» имеет прогностическую символику. По тому, к чему из принесенного ребенок потянется, гадают о его будущем: к хлебу – будет жить в достатке, к ложке – будет «споровитым в работе», к молоку – здоровым, к рубашке – счастливым, к ленточке, пояску – долго не женится (не выйдет замуж) и т.д.

Существенное значение для интерпретации такого рода СТ имеет обращение к фольклору и живой разговорной стихии, к диалектному материалу, к народной идиоматике, которые позволяют воспроизвести символическую ситуацию, условное пространство функционирования культурного текста.

Представление формально не выраженных сакральных смыслов может выглядеть, например, следующим образом: *Бабий переполох.* Номинативные варианты: *девичий переполох, страхополох.* Колючник обыкновенный. Травянистое растение с прямым длинным стеблем, зубчатыми очень колючими листьями и лилово-пурпурными цветками. Растет на сухих опушках, лугах. В народной медицине используется для лечения испуга. Контексты употребления: *У меня соседка как-то вяжет ли чё делат ночью, в окно стукнули, она выглянь возьми, а там свинья высунулась, дак соседка потом болела рожей, вот бабий переполох помог, а так страх как выгониш?* [Коновалова 2000: 24]. Информация о сакральном знаке эксплицирует пресуппозиции, связанные с традициями народной медицины и представлениями людей о причинах болезней: В некоторых местах считается, что одной из причин женских болезней

является испуг от «насыльного беса», который в образе какого-нибудь домашнего животного неожиданно появляется перед женщиной, засидевшейся за полночь за домашней работой. Следствием такого испуга может быть умопомрачение, различные воспалительные заболевания, излечить которые можно только колючником: его запаривают вместо чая, колют им пятки больной, развешивают вокруг кровати, чтобы «насыльный бес» больше не приближался и не усугублял болезнь своими издевательствами [Коновалова 2000: 22].

Ср. также комментарий к примете-прогнозу, не содержащей формально выраженных маркеров сакральности: *Без *вежливого свадьбá – без спокою судьба* (Туринск.).

**Вéжлúвый // вéжлúвец* – почетное название колдуна на свадьбе, являющегося часто и распорядителем свадьбы. Обязанность его состоит в том, чтобы охранять свадьбу от порчи, разрушать злонамеренные чары и предупреждать всякие считаемые худым предзнаменованием случайности: например, чтобы лошади в свадебном к венцу поезде не остановились, не распряглись, не рвались порывисто, не заметали снегом или пылью и т.д. Вежливый осматривает все углы и пороги в доме, пересчитывает камни в печах, кладет замок на пороге, дует на скатерть свадебного стола, нашептывает разные наговоры над одеждой молодых и под лошадиной сбруей, дает молодым привески к крестам на шее и т.д. [СРНГ, т.4: 96]. Варианты названия: *вражной // врожей // вражий*, т.е. знающийся с нечистой силой *// большак*, т.е. старший на свадьбе.

Выявление сакральных смыслов может осуществляться также через указание символических функций обозначаемого: «*Деревянный (сухой) огонь.* Огонь, добытый трением двух сухих кусков дерева. *Деревянный огонь поддерживают летом около деревень, так как, по мнению крестьян (и многих инородцев Сибири), он помогает от падежей скота* (Пятканов и Зобнин, 1890). *Думали: сухой огонь помогает. От березы брали два столбика, терли один об другой, доставали деревянный огонь*» [Фразеологический 1983: 125].

При семантической диффузности символа описывается круг наиболее значимых культурных функций с приведением типовой метафорики и идиоматики: «*Амбар.* Др.-рус. *житница*,

хранилище жита, связанное в ритуально-магической практике с обеспечением урожайности и плодородия… В амбаре совершались продуцирующие и апотропейные действия, связанные преимущественно с жнивной, новогодней, иногда свадебной обрядностью. Широко распространен обычай хранить в амбаре жатвенную «бороду» – последний сноп или венок жатвенный… Полный амбар – метафора хорошего урожая и богатства (ср. рус. *полные закрома*)… Существует обычай открывать амбар в определенный календарные даты, например, у болгар в рождество, чтобы в новом году был хороший урожай. Считается, что колдуны и колдуньи раскрывают свои амбары во время молотьбы или когда делают пережин, чтобы хлеб мог сам с полей сыпаться в сусеки (костром.). У восточных славян в амбаре молодожены иногда проводили первую брачную ночь» [СД, т.1: 104].

Сакральное слово в СТ (в качестве единицы семантических полей «сверхъестественное», «таинственное», «священное», «демоническое», «ритуально-магическое» и т.п.) выступает лишь как ассоциативный стимул, толчок к актуализации всего содержания СТ или отдельных его аспектов, получающих реализацию в зависимости от уровня языковых и внеязыковых знаний говорящих и их коммуникативных намерений. Характер целостного восприятия СТ определяется комплексом элементов устойчивой и варьируемой информации о соответствующем участке описываемого денотативного (или квазиденотативного) пространства в содержательной структуре текста, в совокупности его актуальных смыслов. При этом «ассоциативный потенциал <сакрального слова / выражения> предстает как обусловленная самим лексическим значением **программа преобразования потенциального содержания в актуальное**» [Гридина 1996: 60-61]. Такая «программа» моделирования актуальных смыслов СТ может быть реализована при учете всей совокупности типов культурной информации, транслируемой элементами СТ. Это связано с привлечением для лексикографической практики фактов рефлексивной интерпретации носителями языка сакральных смыслов, передаваемых знаками разных культурных кодов:

обрядов, традиционного народного календаря и святцев, практики народной медицины и т.д.

Литература

Буслаев Ф.И. Значение собственных имен: лютичи, вильцы и волчки в истории языка // Временник императорского московского общества истории и древностей российских. – М., 1851. – Кн. 10.

Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург, 1996.

Гридина Т.А., Коновалова Н.И. Об ассоциативных «реакциях» языка на деэтимологизацию слов (на материале диалектных названий растений) // Русская диалектная этимология. – Свердловск, 1991.

Коновалова Н.И. Народная фитонимия как фрагмент языковой картины мира. – Екатеринбург, 2001.

Словари и справочники

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х тт. – М., 1989. – Т. 1-4.

Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. – М., 2003.

Коновалова Н.И. Словарь народных названий растений Урала. – Екатеринбург, 2000.

Лютикова В.Д. Словарь диалектной личности. – Тюмень, 2000.

Меликян В.Ю. Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи. – М., 2001.

МФ – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х т. – М., 1986. – Т. 1-4.

СД – Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / под ред. Н.И. Толстого. – М., 1995. – Т.I-III.

Фразеологический словарь русских говоров Сибири / под ред. А.И. Федорова. – Новосибирск, 1983.

СРНГ – Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Филина. – М.; Л., 1965-1998. – Вып. 1-36.

ФСМ – Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. – М., 1986.

© Коновалова Н.И., 2007

М.Л.Кусова
Екатеринбург

О факторах, определяющих парадигматические связи слов в словаре младшего школьника

Для современной лингвистики является аксиомой положение о связи языка и мышления, об обусловленности языкового образования и речевого развития ребенка когнитивными процессами. Связь когнитивных процессов и языка находит отражение в системном описании лексики, в представлении различных типов лексических парадигм, различных лексических подмножеств. Выделяются лексико-семантические группы, семантические поля, идеографические группы слов как отражение идеографической сетки, существующей в нашем языковом сознании, благодаря чему собственно и возможна речевая деятельность. Говоря об особенностях отражения лексической системы языка в сознании его носителей, Л.А. Новиков отмечает возможность свести лексику языка к элементарным смыслам, лексическим функциям [1], подчеркивая при этом, что подобные элементарные смыслы могут быть выделены в том числе при обращении к антонимии.

В разных видах речевой деятельности протекают различные процессы, обусловленные различными логическими операциями. Мы остановимся на процессах, связанных с межсловной парадигматикой, так как в основе этих процессов лежат логические операции сопоставления и противопоставления. А.А. Леонтьев пишет, что при опознавании слова используются семантико-грамматические и семантические признаки слова [2]. На примере лексических парадигм, воспроизводимых младшими школьниками в условиях лингвистического эксперимента и выявленных экспериментатором в процессе наблюдения за речью, мы попытаемся определить, на какие признаки слова опирается младший школьник при его узнавании, как результаты когнитивных процессов определяют этот процесс узнавания.

Как показывает анализ работ младших школьников, записей их устной речи, материалов лингвистического эксперимента, при опознании слова младшие школьники опираются на

зрительные и слуховые каналы восприятия (что закономерно), причем на этапе предварительной ориентировки нередко доминируют фонетические и графические характеристики слова. Доминирование данных характеристик слова последовательно проявляется в смешении в речи младших школьников паронимов, например: бережливое отношение к природе. Подобное смешение интересно тем, что оно наблюдается в рамках устойчивого словосочетания, многократно воспроизводимого в речевой среде младшего школьника, и лексическая ошибка связана с единицей, обычно усваиваемой к старшему дошкольному возрасту. Традиционным для речи младших школьников является смешение и таких лексических единиц, как надеть – одеть, человечный – человеческий, пустой – пустынный и т.п.

Данную ошибку можно объяснить доминированием в языковом сознании ребенка общего смысла у однокоренных слов. Представляется, что и в младшем школьном возрасте при осмыслении значения слова ребенок опирается на те же связи и отношения, которые актуальны для ребенка в раннем и младшем возрасте. В раннем и младшем возрасте ребенок при опознании нового слова опирается на его формальные признаки, тождество формы воспринимается как вероятностный признак близости или общности содержания. В дневниковых записях детской речи приводится следующий пример. Бабушка показывает ребенку на соседа, играющего на гармошке, и называет этого соседа: «Дядя Гена». Ребенок мгновенно реагирует: «Крокодил», – не учитывая денотативной соотнесенности слова, не вкладывая в данную единицу никакой коннотации [3]. Очевидна актуализация в сознании ребенка формальной связи, обусловленной содержанием мультипликационного фильма.

Логическими операциями дифференциации, обобщения, классификации дети овладевают в дошкольном и младшем школьном возрасте на материале артефактов ближайшего и дальнейшего окружения. С.Н. Цейтлин отмечает, что «родовые семантические компоненты значения осваиваются раньше, чем дифференциальные» [4]. Основываясь на типовых семантических функциях, смыслах, мы можем предполагать, что в языковом сознании младшего школьника при использовании

единиц, связанных родовидовыми отношениями, актуализируется именно общий смысл данных единиц, их иерархия не актуальна, например: Люди убирают урожай овощей, свеклы.

При комментировании данного примера мы можем также обратиться к наблюдениям С.Н. Цейтлин: «Словом закрепляются мыслительные процессы, связанные с обобщением явлений, причем степень обобщенности может быть разной. Иерархически организованная система лексических единиц отражает существующую в природе типологию реалий … Степень обобщенности и необходимость детализации определяются прежде всего факторами прагматическими, а именно тем, какая степень точности необходима для предметно-практической деятельности ребенка» [5].

Поиск общего смысла при отражении в речи однопорядковых явлений «скрывает» от младшего школьника существенные различия в семантике единиц овощи – свекла. При опознании слова в процессе высказывания учитывается его семантическая характеристика, но эта семантическая характеристика ограничена смыслом, объединяющим слова данного ряда, дифференциация лексических единиц в ней не представлена. Данный материал дает основание говорить о недостаточной сформированности когнитивных операций, об отсутствии понимания, что в лексике имеются единицы, денотативные компоненты в значении которых не соотносятся с конкретным, отдельно взятым артефактом.

Доминирование когнитивных процессов, связанных с обобщением, наблюдается и в других высказываниях младших школьников: Погода была дождливая, пасмурная. Семантическая близость определяется каузативной связью между состояниями, называемыми как дождливый, пасмурный; в языковом сознании школьника эти единицы объединены, семантические признаки, определяющие их различие, нивелируются.

Нивелирование семантических различий лексических единиц как некоторые «когнитивные пробелы», знак того, что явление не познано школьником, можно наблюдать в различных

высказываниях, например: У собаки встал дыбом мех (не разграничиваются единицы шерсть – мех). Полагаем, что убедительным аргументом нейтрализации семантических различий может послужить факт смешения сочетаемости слов, близких по значению: Она была вежливая ко всем (ср. внимательна к кому, вежливая с кем), что вновь дает основание говорить: познавая язык и овладевая речью, ребенок прежде всего овладевает общими закономерностями в языке и речи (в связи с этим можно вспомнить факт сверхгенерализации, наблюдаемый в речи детей раннего и младшего возраста).

Ранее, говоря об особенностях словаря младших школьников, мы обращались к записям детской речи. Чтобы определить, насколько в языковом сознании младших школьников отражены синонимические и антонимические оппозиции, мы провели лингвистический эксперимент. Задание, предложенное учащимся, содержало формулировку, хорошо знакомую младшим школьникам: подобрать слова, противоположные по значению, подобрать слова, близкие по значению. В качестве стимулов предлагались те лексические единицы, которые были включены в материалы упражнений с аналогичными заданиями, т.е. эксперимент предполагал опору на имеющий у школьника опыт познания языка. Предъявление на первом плане противоположных значений слов также объясняется механизмом познания языка: связи по противоположности являются самыми устойчивыми связями в языковом сознании человека. Слова-стимулы были ограничены с точки зрения категориально-грамматической семантики: для эксперимента предлагались имена прилагательные и глаголы, поскольку в этих классах слов более последовательно проявляется градуальность и противоположная направленность процессов.

Полученный в результате эксперимента материал позволяет высказать ряд суждений. Количество единиц, воспроизведенных школьниками в заданных антонимических и синонимических парадигмах, напрямую зависит от наполненности этих парадигм в системе языка. Чем больше единиц включает парадигма в системе языка, тем большее количество единиц воспроизводится школьниками. Наибольшее количество единиц было приведено к словам-стимулам «молчать, ругать,

увеличить», наименьшее – к словам-стимулам «кончить, закрыть». При этом школьниками использовались универсальные модели противопоставления: ругать – не ругать, увеличить – не увеличить, практически не учитывалась стилистическая дифференциация лексем и вариантов значений слова, эмоционально-оценочная коннотация и наличие в семантике слова оценочных компонентов: молчать – орать, молчать – болтать.

Младшие школьники владеют логическими операциями сравнения и противопоставления, поэтому в случае отсутствия в лексиконе школьника необходимой лексической единицы учащийся создает по определенной модели потенциальное слово и заполняет лакуны. Например, подбирая слова, противоположные по значению, школьники указали: уменьшить – убольшить. Обращение к словотворчеству – явление, не типичное для младшего школьника. Следовательно, здесь мы можем говорить об опоре на ранний речевой опыт, его длительном хранении в речевом сознании ребенка и о возможности актуализации этого опыта при появлении языковых и речевых проблем. Опора на ранний речевой опыт проявляется и в попытке заполнить парадигму формами одного слова: велеть – велел (реакция на стимул при выполнении задания: подобрать слово, близкое по значению).

Как показывает анализ антонимических и синонимических парадигм, предложенных младшими школьниками, учащиеся в процессе обучения языку и его изучения по-прежнему опираются на языковое чутье, языковую интуицию, воспроизводят собственный речевой опыт, полученный в определенной речевой среде, без какого-либо осмысления этого опыта, широко пользуются имитацией в овладении языком. Наше утверждение строится на том, что школьники не воспроизводили связей, существующих между единицами в языке, даже если эти связи рассматривались на материале лексических упражнений школьных учебников, например: говорить – молчать, ругать – хвалить.

При наличии слов-стимулов «молчать», «ругать», учащиеся, называя слова, противоположные по значению, вспоминали следующие единицы:

молчать – разговаривать, сказать, говорить, орать, болтать, шуметь, замолчать;

ругать – хвалить, не ругать, похвалить, жалеть, ласкать, бранить, молчать, ворчать, драть, кричать.

Анализируя наполнение приведенных рядов, видим, что синонимические и антонимические парадигмы далеко не для всех учащихся являются объектом познания: при воспроизведении антонимических связей учащиеся привели и синонимы. Логические операции сравнения, противопоставления школьники выполняют по отношению к явлениям действительности, не перенося эти операции на лексические единицы, репрезентирующие явления. У младших школьников при овладении лексикой сохраняются те же особенности, что наблюдаются в речевой деятельности детей в возрасте до трех лет.

В возрасте до трех лет в речи ребенка наблюдается «дефицит» лексических единиц, необходимых для называния познаваемых явлений действительности. Бедность словаря маленький ребенок компенсирует, используя номинативный перенос. Он называет одним словом явления, близкие по функции, внешним признакам, объединенные ситуацией, например: елку называет кактусом, потолочный светильник – солнышком, клетчатую юбку – шахматами и т.п. [6].

В речи младших школьников по-прежнему сохраняется номинативный перенос на основании общности ситуации, при этом семантические различия не принимаются младшим школьников во внимание. Только семантическими парадигматическими отношениями невозможно объяснить все многообразие указанных школьниками антонимических оппозиций: ругать – драть, ругать – ласкать. Заметим, что антонимическая оппозиция ругать – драть довольно часто встречалась в ответах тех учащихся, которые верно воспроизвели все другие оппозиции. Наполнение антонимической парадигмы со словом-стимулом «ругать» во многом определяется влиянием ситуации, а также воздействием универсальной оценки «хорошо – плохо». В антонимической парадигме наблюдает противопоставление по признаку: хорошее – плохое отношение, возможно, доброе – недоброе отношение. Следовательно, мы

можем говорить о том, что в процессе познания языковых явлений младшими школьниками оказываются значимыми неязыковые факторы, прежде всего, ситуация.

Влияние ситуации прослеживается и в приведенных школьниками синонимических парадигмах: говорить – болтать, говорить – орать, утаить – спрятать, бранить – кричать, бранить – драть. Приведенные оппозиции включают различные типы синонимов, семантические и стилистические различия единиц учащимися не учитывались, хотя при выполнении заданий лексемы предлагались вне контекста. Особенности наполнения приведенных оппозиций объясняются стремлением детей данного возраста к эмоциональности и экспрессивности собственной речи, с одной стороны, влиянием устойчивых ситуаций, с другой. Нейтрализация «говорить – болтать», «говорить – орать» – типичное явление в ситуации школьного урока и в речи учителя.

Таким образом, при описании особенностей отражения межсловной парадигматики в лексиконе младшего школьника и в его речевой деятельности мы видим, что познавательные процессы, связанные с языком, опосредованы процессом познания действительности, влиянием речевой ситуации. Определение значения слова с опорой на речевую ситуацию оказывается для младшего школьника настолько значимым, что он не учитывает информацию, полученную в педагогически управляемом процессе познания языка. Для младшего школьника актуален его прежний речевой опыт, что, очевидно, целесообразно учитывать педагогу при организации обучения младших школьников языку.

Литература

Новиков Л.А. Антонимия в русском языке (семантический анализ противоположностей). – М., 1973.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1999.

От двух до трех: Дневниковые записи / сост. С.Н. Цейтлин, М.Б. Елизарова. – СПб., 1998.

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000.

Цейтлин, С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000.

От двух до трех: Дневниковые записи / сост. С.Н. Цейтлин, М.Б. Елизарова. – СПб., 1998.

© Кусова М.Л., 2007

Т.В.Маркелова, М.В.Петрушина
Москва

Семантическая структура модального значения неодобрения как соотношение ментального, эмотивного, перцептивного, волитивного модусов

Интеграция лингвистики с психологией, философией и логикой привела к восприятию языка как способа бытия сознания. Именно поэтому описание семантики и инструментария модальности неодобрения важно для современного состояния русистики: оно позволяет проникнуть в механизм познавательной и речемыслительной деятельности человека в процессе языкового миропроизводства.

Разветвленную сеть средств выражения негации современного русского языка говорящие активно эксплуатируют, поскольку в обществе имеется свой перечень пороков и добродетелей. Знаки оценки личностных характеристик и явлений определяются сложившейся традицией отношения к ним. Так, *лень, безделье* всегда оценивались отрицательно: – *Удивительный, я вам скажу, народ! – ворчит Ляшкевский, со злобой глядя на обывателя. – Вот как сел на лавочку, так и будет проклятый сидеть сложа руки до самого вечера. Решительно ничего не делают, дармоеды и тунеядцы!* (А. Чехов) Наши соотечественники гораздо легче порицают, чем одобряют, нарушая один из важнейших постулатов речевого общения – «принцип

вежливости». Щадящая, деликатная номинация неодобрительного отношения свойственна публицистическому и научно-популярному стилю, гораздо реже – разговорному и стилю художественной литературы.

Поскольку главной фигурой выражения неодобрительного отношения является говорящий, центр тяжести переносится с лингвоцентрического направления изучения модальности [Ш. Балли 1961; В.В. Виноградов 1975 и др.] на социолингвистический (антропоцентрический) контекст проблемы, который требует обращения к тексту и – шире – речевой ситуации.

Многообразие речевой реализации значения неодобрения диктуется тем, что оно различными своими сторонами связано, во-первых, с коммуникацией (речевые акты неодобрения, осуждения, угрозы); во-вторых, с прагматической ситуацией речи – различными видами отрицательных оценочных суждений (Х – плохой; Я считаю, что Х – плохой и др.); в-третьих, с экспрессивно-эмоциональной палитрой семантики неодобрения, дифференциацией недовольства говорящего и способов его языкового выражения. Используемые при этом в речевой деятельности разноуровневые средства языка – лексическо-фразеологи-ческие, морфологические, словообразовательные, синтаксические не систематизированы, не выявлены мотивы их выбора говорящим, зависимость от коммуникативной перспективы высказывания, жанра речи, модальности предложения и текстовой модальности.

Между тем сейчас особенно ярко проявляется тенденция раздавать отрицательные характеристики совсем незнакомым людям, на что обращают внимание публицисты: «*Что это должно быть за общество, где изначально все презирают друг друга, что вполне выражается в заглазных определениях незнакомцев: «вон тот дурак», «что это за козел»? В утере слов обращения друг к другу, вообще в невероятной, но привычной оскорбительности атмосферы нашего бытия*» [НГ, № 170, 1999]. Социологические исследования, проведенные центром Т. Заславской, дают ответ на поставленный вопрос: для психического состояния нашего общества в последнее десятилетие характерны, с одной стороны, такие эмоции, как

злоба и агрессивность, с другой – такие, как апатия и усталость [Известия, № 16, 1999].

Анализ психологической и лингвистической природы данного явления требует обращения к специфике семантической структуры неодобрительной модальности, которая заключается, на наш взгляд, в сложности самого феномена «модальность» и в многоаспектности семантики «неодобрение». Совмещение понятий «отношение говорящего», «оценка», «эмоция», «экспрессия» в синтагме «модальное значение неодобрения» нуждается в подробном комментарии и исследовании.

На разных этапах развития лингвистики понятие модальности то сужалось до понятия наклонения, то расширялось, сливаясь с категорией оценки (см., например, модальная оценка Н.Ю. Шведовой) и выражением эмоционально-экспрессивного отношения к сообщаемому.

Преобладание широкого понимания модальности придает этой семантической категории характер мегаязыкового явления. Таким оно представлено у Ш. Балли, включающего в число модальных значений «самые различные оттенки суждения, чувства или воли» [Балли 1961: 43]; у Н.Ю. Шведовой, квалифицирующей эмоциональное отношение к сообщаемому как модальное [РГ 1980, II: 215]; у Н.Е. Петрова, считающего, что «эмоциональность в своем грамматическом выражении всецело относится к языковой модальности» [Петров 1982: 107].

Отмеченный факт не противоречит представлению о неодобрительной модальной семантике как одной из групп семантических категорий модуса – квалификативной, в состав которой входят также модальность, персуазивность и авторизация. Т.В. Шмелева подчеркивает: «…выражая квалификативные смыслы, говорящий реализует свою волю, поступает в соответствии со своими замыслами и представлениями» [Шмелева 1984: 85].

Семантическая типология модуса и грамматический репертуар средств его выражения позволяют очертить место модальной семантики неодобрения среди аспектов единой категории модальности, определить ее сложную структуру, обусловленную оценочным стимулом, лежащим в основе любых неодобрительных высказываний.

Мыслящий субъект активно участвует в процессе познания, включающем восприятие, мышление, образование различного рода мнений, суждений, квалификаций объективной действительности, а также речевую деятельность: «Предицируя, мы как бы имеем в виду себя, свою личность, мы ощущаем или осознаем себя как виновника акта предицирования: так, предложение "снег бел" заключает в себе в скрытом виде следующее – невыраженное – движение мысли: "я (говорящий, думающий) знаю, полагаю, утверждаю и т.д., что признак белизны должен или может быть приписан снегу, как предикат"» [Овсянико-Куликовский 1912]. Приведенное высказывание выражает мысль о наличии в любом высказывании двух смысловых комплексов – объективного и субъективного (идущего от говорящего), а также о возможности их имплицитного проявления. Скрытая часть высказывания (*Я знаю…*) представляет собой мыслительную операцию в отношении объективной действительности, сообщает об авторе-говорящем, эксплицитная часть – вторая – "снег бел" отражает объективное положение дел.

В учении о модусных категориях Ш. Балли часть высказывания – положение дел – называется диктумом (процесс, образующий представление), а часть высказывания, коррелятивная психической операции, производимой мыслящим субъектом над этим представлением, называется модусом. Логическим и аналитическим выражением модуса является соединение модального глагола и модального субъекта. Идея обязательного соединения в высказывании объективного и субъективного начал признается фундаментальным положением, определяющим психолингвистическую природу смысловой организации высказывания.

В лингвистической литературе используются следующие терминологические обозначения для модуса – модусная / модальная рамка, модусная пропозиция, квалификативная структура, пропозициональное отношение / установка, интенсиональное состояние сознания, психологическая / субъективная реакция, модальное отношение; для диктума – дескриптивная структура, факт, положение вещей, ситуация (в том числе процесс, событие, происшествие), суждение.

Проблема модуса выделилась из общей проблемы модальности как особый ее аспект – внешнесинтаксический.

Если диктум отражает в сознании человека факты, события, явления реальности, то есть определенное положение вещей – предметную ситуацию, то модус или «интегральная природа модуса» понимается в современной лингвистике как комплекс смыслов, идущий от говорящего и отражающий то, «что говорится в диктуме, кем, когда, кому, с какой целью, в каких условиях ("речевую ситуацию"). Он охватывает переменчивые элементы высказывания, субъективно окрашенные, зависящие от интенции говорящего» [Гак 1998: 87].

Таким образом, содержанием модуса является **языковое выражение психических переживаний, связанных с объективной реальностью.** Модусные события отражают факты "несубстанциональной" действительности, …рефлексии говорящего по поводу другого события и оценивают, квалифицируют диктум под разными углами зрения – модальным, эмоциональным, истинностным, этическим и др., с точки зрения говорящего.

Единицей описания модусных событий считается пропозиция, то есть понятие «интеллектуальной модели ситуации» [Ломтев 1972]. Модус и диктум организуют смысловое устройство предложения и находятся в дополнительных отношениях: модус невозможен без диктума, то есть вне отношений с диктумом модусное событие перестает существовать, становясь диктумом: ср.: *Мне нравится, что вы больны не мной…– Мне нравится.*

Примером имплицитного выражения модуса является использование псевдоимператива для выражения неодобрения и даже запрета действий или поступков собеседника: *Поговори, поговори тут; Поговори, поговори у меня; Поспорь, поспорь со мной*; или использование повествовательной структуры в ситуации недовольства: *Народ пошел (плохой); Я обращаюсь к вам на русском языке (ситуация на уроке), Знаем мы ваши обещания…*

Существование имплицитных средств выражения затрудняет исследование модусных категорий. Эксплицитный модус порождается, по мнению Н.Д. Арутюновой, внутренним или явным диалогом [Арутюнова 1988: 106-108].

Среди признаков, определяющих сложность исследования модуса, можно назвать следующие:

- тенденция к значимому отсутствию (невыраженности);
- эксплицитная неоднородность (распыленность) языковых средств выражения – от интонации, "мельчайших" частиц до построения сложного предложения;
- комплексность модусных показателей, контаминация их значений, полифункциональность;
- проникновение, "врастание" модуса в диктум: ср.: *Я считаю, что X – хороший / плохой – X – хороший / плохой.*

В языкознании существуют различные классификации, типологии модусов, модальных рамок, модусных аспектов, модусных предикатов. Выделяются, в частности, перцептивный, ментальный, эмотивный, волитивный, речевой, квалификативный модусы (и др.).

Тип модуса определяется семантикой образующего его предиката. Семантика модусного предиката отражает определенную ступень когнитивного процесса, цикла, развивающегося от восприятия к знанию и фиксирующего все этапы и аспекты речемыслительного акта. Многообразие модусов отражает многообразие отношений между бытием и сознанием.

Модусные предикаты имеют собственное место в системе языка, свои структурно-семантические особенности. Из многочисленных терминологических обозначений – предикаты пропозициональной установки, модусные, авторизующие, интенсиональные, предикаты второго ранга, квазипредикаты, предикатные функторы и др. мы выбираем для нашей работы термин предикаты внутреннего состояния или **психической реакции.**

Названные предикаты обозначают специфические ситуации, отражающие вербальную и психическую деятельность субъекта. Их структурная особенность – способность присоединять предикатные актанты, выполняющие при них семантическую роль содержания. Каждый модус имеет собственный набор предикатов - средств выражения.

1. ***Модус восприятия (перцептивный)*** **–** отражает процесс чувственного восприятия, фиксирует способ познания, то есть получения информации. Предикаты чувственного восприятия – зрительного и слухового, ощущения, обоняния, осязания, точного и неточного (ложного) восприятия – ср.: *видеть, слышать (видно, слышно); ощущать, чувствовать, воспринимать и др. – казаться, чудиться, мерещить*ся и мн.др. В этом типе стоят особняком предикаты обнаружения – *найти (Нашел кого звать), заметить, обнаружить, открыть* и предикаты представления – *представлять, воображать, мыслиться.* В зависимости от контекста они способны передавать не только перцептивные, но и ментальные смыслы, то есть представляют собой переходное явление.

2. Ментальный модус "обслуживает" сферы эпистемической и аксиологической природы, идентифицирующие и квалифицирующие интеллектуальную деятельность субъекта – процесс познания. Его сущность состоит в рефлексии субъекта над собственным текущим ментальным состоянием, в выражении своего отношения к диктумной пропозиции, в придании диктуму определенности. Именно здесь сосредоточена субъективность процесса познания, поэтому его можно отнести к классическим знакам оценочной модальности, реализующим умственный акт оценки de dicto: *Я считаю, что X хороший / плохой.*

К ментальному модусу относятся модусы *полагания и оценки, знания, незнания, сомнения и допущения (вероятностной оценки), истинностной и общей, аксиологической оценки.*

Модус *полагания и оценки* реализуется предикатами: *считать, полагать, находить, интерпретировать, оценивать, трактовать, рассматривать как…, думать, представляться, казаться* и др. Модус полагания – квазиуниверсальный, поскольку может быть предпослан любому предложению, в том числе уже содержащему модус.

Сфера *мнение* объединяет два типа смыслов: мнение-предположение *Я думаю, что…* и мнение-оценку *Я считаю, что…*, отличающихся по ряду признаков. Первое выражает вероятностную оценку и допускает возможность ошибки. Второе имеет статус субъективной истины для говорящего

(например, ему может нравиться кислое незрелое яблоко и плохая погода), выражает истинностную оценку подчиненной пропозиции и, исключая сему «вероятность», выявляет субъективность мнения. Этот тип мнения характеризует саму личность человека, в отличие от мнения-предположения, для изменения которого достаточно поступления новой информации.

Ядерным экспликатором модуса мнения-оценки является глагол *считать,* конструирующий специальные оценочные модели типа *Он считался хорошим / плохим учителем. Ср.: невозможное? Он думался…).* Как правило, мнение-оценка используется в интенсиональном контексте, интерпретирующем действия и вводит неверифицируемые пропозиции в отличие от мнения-предположения, которое в фактическом контекте вводит верифицируемые пропозиции, истинность которых может быть доказана.

Модус *знания* реализуется модальной рамкой с предикатами *знать, ведать, понимать, вспоминать, допускать, осмысливать, объяснять, убеждаться, разбираться, иметь представление, быть известным, ясно, понятно, доказано, что… и др.* Знание субъективно, но может быть проверено в реальном мире, к тому же может служить критерием положительного или отрицательного отношения говорящего. В особый тип выделяется *модус незнания*, эксплицируемый следующими предикатами: *неизвестно, как знать, не берусь судить, не решено, время покажет, еще вопрос* и мн. др.

Модус *сомнения и допущения* (вероятностной оценки) выражает отношение к истинностному значению пропозиции, ставит его под сомнение, предлагает шкалу вероятностных оценок: *сомнительно, маловероятно, не доказано, не уверен, не убежден, не факт*.

Модус *истинностной оценки* выражается соответствующими предикатами и существительными, номинацией речевых актов, квалифицирующих их по несоответствию действительности: *не может быть, исключено, невозможно, неверно; ложь, клевета, выдумки, сплетни, ерунда, чушь, басни, ошибки.* Решая вопрос об истинности/ложности высказывания, модус истинностной

оценки и эксплицирующие его средства свидетельствуют о связи суждения с диалогической речью: они отсылают либо к предшествующему высказыванию, либо к его автору с имеющимися у него коммуникативными интенциями.

Модус *общей оценки* *как* разновидность ментального модуса принадлежит аксиологической сфере (более широкой): *хорошо, плохо, скверно…*Модус общей оценки вводит пропозитивные единицы в виде изъяснительных придаточных, что нехарактерно для экспрессивных предикатов (эмоционально-окрашенных): *отлично, чудно, замечательно: Отлично, что весна каждый год возвращается, и с каждым годом все как будто больше и больше хорошеет, но худо, что молодость уж никогда не возвращается* (М.Е. Салтыков-Щедрин); и предикатов частной оценки *(полезно, вредно)* Если оценка касается гипотетической ситуации, модус может вводить условные придаточные: *Хорошо, если получится отдохнуть в этом году.*

3. Сфера *волитивного модуса* объединяет два типа смыслов – волеизъявление и необходимость. Первое основано на «планирующей и коррегирующей деятельности разума» [Арутюнова 1988: 130] и реализуется глаголами и глагольно-именными сочетаниями: *хотеть, желать, испытывать потребность, чувствовать необходимость, надо, необходимо* и др., а также глаголами с семантикой речевого воздействия*: приказывать, требовать, просить, велено, приказано.*

4. Семантика *эмотивного модуса* отражает эмоциональное состояние и отношение, шире – психическую реакцию говорящего. Модальная рамка может быть эксплицирована словами различной грамматической природы: *жалеть, сожалеть, бояться, опасаться, огорчаться, удивляться, грустно, радостно, приятно, противно, досадно, обидно, рад, огорчен, счастлив.*

Модусные слова *удивительно, странно, любопытно, достойно удивления, не верится,* выражающие "спонтанную" психическую реакцию, составляют переходное звено между эмотивными и ментальными модусами, квалифицируемыми Е.М. Вольф как модусы странности, опасения [Вольф 1988].

Неоднородность грамматического выражения модусной рамки (глаголы, предикативы, краткие прилагательные и причастия) обусловлена типом значения модуса, который колеблется между событийным и пропозициональным. Тесная связь существует между модусами эмотивным и перцептивным, так как восприятие (в широком смысле) лежит в основе всех эмоциональных реакций и состояний: *Печально я гляжу на наше поколенье!* (М. Лермонтов) – здесь перцептивный и эмотивный модусы совмещаются в рамках одного высказывания.

Особенно тесная связь характерна для эмотивного и ментального модусов: эмоции непосредственно базируются на знаниях и предположениях, то есть имеют под собой ментальную основу [Гак 1998]. В особых отношениях эмотивный модус находится с модусом общей оценки, ибо эмоция в своей напряженной фазе способна индуцировать оценку, а оценка, в свою очередь, "эмоционально окрашиваться", приобретать эмоциональный «ореол» [Маркелова 1996: 120-121].

5. Предикаты ***речевого модуса*** отличаются способностью к взаимодействию с каждой из рассмотренных групп модусов: перцептивной, мнения, оценки, эмотивной, волитивной: это предикаты информации *говорить, рассказать, сообщить;* акцентировки – *подчеркнуть, заметит*ь и др., диалогические – *подтвердить, обсудить, согласиться* и др., каузирующие *объяснять, заверить, убедить* и др.; перформативы типа *заявлять, объявлять, декларировать, одобрять.* Действительно, знание о результатах восприятия мнения, волеизъявлении и др. может быть получено только в процессе либо в результате общения. Например, ментальные предикаты, в том числе знания-мнения, в модальной рамке выражают одновременно акт мысли и акт речи: *Ему нравятся старинные книги; Я одобряю его отношение к людям* и др.

Взаимодействие реактивной и речевой модальной рамки, то есть интерпретация говорящим одновременно речевого действия и эмоциональной реакции на речь, рождает проблему речевой каузации. Реакция говорящего может быть направлена:

– на эмоциональное чувство, вызванное фактом сообщения: *Мне радостно / больно услышать, что…*

– на сообщаемый факт: *Отцу было обидно, что дочь не приедет;*

– на сущностно-оценочное содержание чужого высказывания, его квалификацию говорящим: *жаловаться, хвастаться, сплетничать*;

– на мотивы речевого действия, предполагаемые или реальные последствия (модусные глаголы *клеветать, чернить, выгораживать*) в диктуме.

Особый интерес представляет глагол *одобрять* (в контексте наших исследований применяется его отрицательный вариант – *не одобрять).* При подходе к категории оценки как функционально-семантическому полю этот глагол квалифицируется как узел-лексема (термин Е.С. Кубряковой), организующий словообразовательный блок *одобрение / неодобрение, добрый / недобрый, добро / недобро, добро / зло.* Являясь перформативом по своим семантико-прагматическим свойствам ("отзываться одобрительно"/ неодобрительно"), этот предикат олицетворяет по набору сем в своей семантической структуре связь ментального и социального пространства: речевому действию как социальному поступку предшествует мнение о ценности. Оно же обнаруживается в предикатах – функциональных и синтаксических дериватах этого глагола: *похвала / порицание, славословие, дифирамбы, непозволительно, беззаконно и* мн.др.

Однако взгляд на *одобрять* как на начальный, нулевой тип оценочных предикатов и строящихся на их основе высказываний прагматического типа не означает возможности такой же квалификации для отрицательного *не одобряю, неодобрение:* «Отрицательная зона фрагмента демонстрирует асимметрию в данной области: семантика отрицания обладает собственной силой интенсификации, не допускающей употребления типа *очень не одобрял, очень порицал* и под. Ср.: *возмущаюсь, осуждаю, презираю* и под.» [Маркелова 1999: 84-85]. В числе причин можно назвать следующие: в высказываниях с *одобрять* содержание диктума как мыслительного акта оценки сосредоточено в субъектно-объектных отношениях и осложнено наложением речевого действия на мыслительное; оценочная эмоция выражена здесь семантически "слабо", как сема

отдаленной связи; высказываниям свойственен коммуникативный параметр *бесстрастности*.

Неодобрение (не одобрять) как модус оценки как бы "превалирует" над диктумом, довлеет над ним за счет субъективности неодобрительного мнения и "силы" отрицательных эмоций (гнев, страдание, печаль) по сравнению с положительными, высказываниям свойственен коммуникативный параметр *пристрастности*. Подчеркнем, что асимметрия указанных свойств одобрения – неодобрения отражает **три типа межличностных отношений в психологии** – ***сопереживающее*** (понимание, сочувствие, оправдание, сожаление, тревога – *бедняга!*); ***одобряющее*** (симпатия, восхищение – *молодец!*); ***отвергающее*** (антипатия, осуждение, неприятие – *деловитый до тошноты!*).

Описанная проблематика модуса помогает определить семантическую структуру модальной семантики неодобрения и использовать ее при интерпретации языковых средств ее выражения.

Литература

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 1961.

Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М., 1975.

Русская грамматика. Т.2 / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. – М., 1980.

Петров Н.Е. О содержании и объеме языковой модальности / Н.Е. Петров. – Новосибирск. 1982.

Шмелева Т.В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // Актуальные проблемы русского синтаксиса. – М., 1984. – Вып. 1.

Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. – СПб., 1912.

Гак В.Г. Языковые преобразования. – М., 1998.

Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М., 1972.

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., 1988.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 1985.

Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. Дис. д-ра. филол. наук. – М., 1996.

Маркелова Т.В. Лексема-узел «одобрять» как средство выражения оценочного значения // Филологические науки. – 1999. – № 3.

© Маркелова Т.В., 2007
© Петрушина М.В., 2007

С.А.Минюрова
Екатеринбург

Модель стратегий личностно-профессионального саморазвития

Высокий темп изменений в мире профессий ставит вопрос об изучении стратегий, которые позволяют человеку гибко и

эффективно трансформировать представления о самом себе как профессионале, способном меняться адекватно меняющейся профессии и развивающемуся обществу и воплощать эти представления в реальность.

Стратегии личностно-профессионального саморазвития следует рассматривать в контексте более широкой проблемы жизненных стратегий как способа конструирования человеком собственной жизни, выбор ее направления на основе определенных ценностных ориентаций (К.А. Абульханова-Славская, 1991; О.С. Васильева, Е.А. Демченко, 2001; А.Е. Созонов, 2004; Э. Дэси, Р. Райан, 2000; J.R. Royce, A.D. Rowell, 2003). При изучении человека в профессии в зарубежной психологии акцент делается на стратегиях построения человеком карьеры через выделение определенных типов, стилей поведения в профессиональной сфере, карьерных ориентаций (М. Вебер, 1990; Э. Шейн, 1998). В отечественной психологии представлены отдельные работы, направленные на изучение стратегий поведения человека в ходе профессионализации, которые в целом можно классифицировать на две группы. В первую входят работы, в которых исследуются стратегии, отражающие направленность человека на собственный успех в профессии: стратегии конкурентоспособности (Ф.С. Исмагилова, 2000), стратегии самоутверждения человека в профессии (С.А. Лебедев, 2002), стратегии карьеры (В.Л. Романов, 1997), стратегии профессионального развития человека (Н.Г. Солнышкина, 2006). Во вторую группу входят исследования стратегий, которые отражают направленность человека на адаптацию в условиях профессии: стратегий самосохранения (О.Н. Ежова, 2003; Э.Э. Сыманюк, 2005), стратегий совладания с кризисными ситуациями в ходе профессиональной деятельности (А.Н. Демин, 2005; З.Г. Ханова, 2005).

Для продвижения в изучении вариативности стратегий проявления человеком себя в профессии нами вводится понятие «стратегии личностно-профессионального саморазвития». Личностно-профессиональное саморазвитие рассматривается при этом как особый вид внутренней деятельности, который направлен на порождение и осуществление ценностно-

осмысленного опыта профессионализации. В соответствии с традициями отечественной теории деятельности в структуре личностно-профессионального саморазвития мы выделяем три основы (В.А. Иванников, 1999; А.Н. Леонтьев, 1975; А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 2001). Мотивационная основа обнаруживается через стремление человека обогащать свои универсально-действенные способности в ходе профессионализации при опоре на определенные ценности (Д.А. Леонтьев, 1989). Направленность на личностно-профессиональное саморазвитие связана с акцентированием значимости мотивирующих тенденций изменений на основе ценности профессиональной самореализации. Эти тенденции ориентированы на содержание выполняемой работы и повышают удовлетворение от профессиональной деятельности, по сравнению с материальными или гигиеническими тенденциями, которые связаны с организацией рабочей среды, но не определяют содержание деятельности и удовлетворенность профессией (Г. Херцберг, 2003). Целевая основа отражает результат, который будет достигнут благодаря деятельности личностно-профессионального саморазвития – становление во внутреннем мире развивающегося профессионала субъектных качеств и ключевых квалификаций, обеспечивающих его направленность на постоянные позитивные самоизменения в системе «человек – профессия – общество». Инструментальная основа включает в себя психологические механизмы саморегуляции, которые обеспечивают преобразование внутреннего мира человека и определяют специфику осуществления его ценности профессиональной самореализации в реальность.

Психологические характеристики, которые входят в состав выделенных основ, образуют личностно-профессиональную диспозицию как предрасположенность человека к устойчивому типу поведения в различных ситуациях профессионализации. Центральным образованием содержательного аспекта диспозиции является ценность профессиональной самореализации, которая становится своеобразным стержнем, организующим структуру ценностных ориентаций, мотивов, субъектных качеств, ключевых квалификаций специалиста.

Динамический аспект отражает способы реализации данного опыта в реальность и представлен характеристиками инструментальной основы. В качестве таких основных характеристик мы рассматриваем два типа устойчивых механизмов личностной саморегуляции: «ориентация на действие» и «ориентация на состояние» (Ю. Куль, 1985; С.А. Шапкин, 2001). Первый тип предполагает, что регуляция действия основана на полноценном намерении, оно управляется как бы само по себе, не требует постоянного контроля со стороны сознания и непроизвольно воплощается в реальность. Второй тип проявляется в случае, если действие основано на неполноценном намерении (отсутствует или недостаточно представлен какой-либо элемент в связи между мотивом, целью, способами достижения цели).

Уровневое строение личностно-профессионального саморазвития как внутренней деятельности может быть рассмотрено с опорой на категорию самоорганизации (И. Пригожин, 1986; Г. Хакен, 1997). При оценке уровня процессов самоорганизации личностно-профессионального саморазвития мы опираемся на принцип заимствования (В.А. Лефевр, 1973, 2000). Согласно данному принципу возможно извлечение из системы структуры элемента, который используется ею в качестве «образца», а затем сквозь его призму рассматривать другие элементы, построив специальную меру диссонанса (уклонения) системы от собственного проекта. При определении «образца» и меры диссонанса процессов самоорганизации личностно-профессионального саморазвития мы опираемся на показатель степени сформированности ценности профессиональной самореализации, который рассматривается через соотношение ее уровня значимости и удовлетворенности. Мы выделяем несколько вариантов указанного соотношения.

Первый вариант – высокий уровень значимости и высокий уровень удовлетворенности ценности профессиональной самореализации – рассматривается нами в качестве «образца» и определяется как уровень самоорганизации личностно-профессионального саморазвития. В данном случае представлены процессы, которые связаны с совершенствованием способности человека к постоянному самообучению и ценностному осмыслению

приобретаемого в ходе профессионализации опыта, который становится значимым ресурсом его личностно-профессионального саморазвития. Второй и третий варианты, когда наблюдается противоречивое соотношение между уровнем значимости и удовлетворенности ценности профессиональной самореализации, отражают меру диссонанса процессов самоорганизации, характеризуют переходное состояние развивающегося профессионала, и обозначаются как уровень преобразования личностно-профессионального саморазвития. Благодаря этим процессам человек поддерживает направленность на саморазвитие при изменении внешних или внутренних условий за счет перестройки личностно-профессиональной диспозиции. Четвертый вариант, когда представлен как низкий уровень значимости, так и низкий уровень удовлетворенности ценности профессиональной самореализации, рассматривается как уровень неопределенности личностно-профессионального саморазвития.

Личностно-профессиональное саморазвитие осуществляется посредством определенных стратегий, которые рассматриваются нами как способ преобразования человеком собственного внутреннего мира, направленный на порождение и осуществление опыта профессионализации, основанного на ценности самореализации в профессии. Мы предлагаем следующую модель проявления стратегий личностно-профессионального саморазвития.

Порождение опыта профессионализации проявляется через образование во внутреннем мире человека системы взаимосвязей между его ценностными ориентациями, мотивами, личностными, субъектными свойствами, которая обретает статус интегральной характеристики личностно-профессиональной диспозиции. Данная характеристика является психологическим образованием, в котором заложен ряд ключевых альтернатив возможных вариантов профессионализации. Выбор того или иного варианта обусловливается, на наш взгляд, спецификой позиционирования в структуре интегральной характеристики ценности профессиональной самореализации. Мы выделяем два основания для анализа этого позиционирования. Первое – характер взаимосвязи ценности профессиональной

самореализации с показателями мотивационной основы, который рассматривается нами через проявление тенденций изменений в континууме «мотивирующие – гигиенические» (Г. Херцберг, 2003). Второе основание – характер взаимосвязи ценности профессиональной самореализации с показателями целевой основы личностно-профессионального саморазвития, который рассматривается нами в континууме «амплификация – симплификация». Под амплификацией (Т.М. Буякас, 1997; А.В. Запорожец, 2000; В.П. Зинченко, 1993) мы понимаем способность человека к обогащению собственного опыта профессионализации. Это обеспечивается через установление тесных многообразных взаимосвязей между ценностью профессиональной самореализации и карьерными ориентациями на разнообразие, новизну деятельности, на управление собственным взаимодействием с другими людьми, на профессиональную компетентность и т.п. Симплификация (А.Н. Леонтьев, 1985) предполагает обеднение этого опыта, что обнаруживается через противоречивые взаимосвязи, которые указывают на взаимное отталкивание ценности профессиональной самореализации и других характеристик целевой основы личностно-профессиональной диспозиции. Смещение взаимосвязей ценности профессиональной самореализации к одному их полюсов выделенных континуумов определяет специфику побуждений и целей человека, которые лежат в основе личностно-профессионального саморазвития. Осуществление в реальность выбранного варианта проявления человеком себя в профессии из числа возможных ключевых альтернатив имеет особенности в зависимости от личностной саморегуляции при «ориентации на действие» по типу «самовоплощение» или при «ориентации на состояние» по типу «самопостижение».

Таким образом, разработанная нами модель проявления стратегий личностно-профессионального саморазвития человека создает основу для изучения их вариативности через анализ содержания ключевых альтернатив и специфики позиционирования ценности профессиональной самореализации в континуумах тенденций изменений «мотивирующие – гигиенические», «амплификация – симплификация» в

зависимости от личностной саморегуляции по типу «самовоплощение» или «самопостижение».

Для апробации предложенной модели нами выполнен первый этап эмпирического исследования, который направлен на обнаружение интегральных характеристик личностно-профессиональной диспозиции на разных уровнях личностно-профессионального саморазвития и проверку гипотезы о представленности в их структуре ключевых альтернатив проявления человеком себя в профессии. Исследование проведено на трех выборках. Одну из них составили рабочие-сборщики оборонного предприятия (N=427), для которых характерен репродуктивный тип деятельности, основанный на общем и ясном стандарте. В другую выборку вошли педагоги средних школ (N=470), деятельность которых относится к продуктивному типу, что акцентирует значимость индивидуализированной основы труда и нормативное требование высокого уровня личного мастерства. Третью составили студенты педагогического вуза – будущие педагоги (N=470). Такой подход к формированию выборки позволяет обнаружить общее и особенное в стратегиях личностно-профессионального саморазвития у людей, которые различаются либо по типу профессиональной деятельности, либо по стадии профессионализации. Для выявления характеристик личностно-профессиональной диспозиции на всех этапах исследования использовалась единая методическая процедура, в которую вошли: методика «Ценностные ориентации персонала» (Е.Б. Фанталова), опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн в адаптации В.Э. Винокурова, В.А. Чикер), «Опросник межличностных отношений» (В. Шутц в адаптации А.А. Рукавишникова), методика «Шкала контроля за действием» (Ю. Куля в адаптации С.А. Шапкина). Решение о выборе методов математической обработки принималось на основе данных описательной статистики.

Для обнаружения уровней личностно-профессионального саморазвития каждая выборка была разбита на четыре группы на основании представленности показателей значимости и удовлетворенности ценности профессиональной самореализации, полученных с помощью методики «Ценностные ориентации персонала». Различия между образованными группами под-

тверждены с помощью U-критерия Манна-Уитни (p<,001). Наиболее представленной стала группа, которая находится на уровне преобразования (42% от всей выборки), за ней следует группа, находящаяся на уровне неопределенности личностно-профессионального саморазвития (40% от всей выборки), самой немногочисленной является группа, которая находится на уровне самоорганизации (18% от всей выборки). Такое распределение участников соотносится с представлениями исследователей о том, что количество людей, жизнедеятельность которых проходит в режиме активного профессионального развития и саморазвития, относительно невелико (Л.М. Митина, 1995, 2005).

Для выявления структуры личностно-профессиональной диспозиции в каждой группе был применен факторный анализ (модель главных компонент, варимакс-вращение). Полученные факторы рассмотрены как причины совместной изменчивости входящих в них переменных, которые позволяют через анализ представленности характеристик содержательного и динамического аспектов личностно-профессиональной диспозиции обнаружить ее интегральные характеристики. После факторизации 26 показателей в структуре личностно-профессиональной диспозиции в каждой группе всех выборок выделено по два фактора на основании критериев Р. Кетелла и Кайзера, при уровне значимости факторного веса 0,70. Полученные результаты обнаружили подобие факторных структур личностно-профессиональной диспозиции, выявленной на выборках рабочих и педагогов, и их качественное отличие от факторной структуры, полученной на выборке студентов.

В факторной структуре выборок рабочих и педагогов в группе 1 (уровень самоорганизации личностно-профессионального саморазвития) представлены переменные, которые характеризуют как содержательный, так и динамический аспекты личностно-профессиональной диспозиции. Содержание первого фактора отражает общую для представителей разных типов профессий направленность на преобразование себя как деятеля, которое связано с решением противоречия между ориентированностью либо на организацию собственной деятельности, либо на установление отношений с другими

людьми. Содержание второго фактора отражает специфику внутренних переживаний, сопровождающих этот процесс. Если рабочих волнует снижение комфортности условий, то педагогов беспокоит неудовлетворенность авторитетом, статусом своей профессии в социуме. Динамический аспект в выборке рабочих представлен направленностью на регуляцию действий в связи с оценкой эмоциональных предпочтений. В выборке педагогов акцентируются когнитивный и поведенческий аспекты саморегуляции, которые указывают на противоречие между наличием во внутреннем плане достаточного количества возможных альтернатив собственного поведения и способностью выбрать ту, которая будет воплощена в реальность.

В группах 2 и 3 (уровень преобразования личностно-профессионального саморазвития) представлен лишь содержательный аспект личностно-профессиональной диспозиции, в котором нашло отражение противоречивое отношение к направленности на обретение статуса. На выборке рабочих в первом факторе значимость мотивов статуса, потребности в признании противопоставляется ориентации на личное благополучие. При этом в случае высокой значимости, но низкой удовлетворенности ценности профессиональной самореализации (группа 2) мотивирующую силу имеет направленность на обретение личного благополучия. Напротив при высокой удовлетворенности и низкой значимости этой ценности (группа 3) акцентируется потребность в признании со стороны других людей, направленность на управление взаимодействием с ними. Показатели, вошедшие во второй фактор, отражают направленность на служение своей профессии, стремление к интеграции личной и профессиональной жизни. На выборке педагогов в первом факторе в группе 2 обнаруживается противоречие между направленностью на обретение статуса и удовлетворенностью мотивов стабильности, защищенности. В группе 3 это противоречие снимается в пользу того, что на фоне удовлетворенности статусом и возможностями для самосовершенствования вне работы выявлена направленность на предпринимательство. Во второй фактор вошли показатели, которые отражают направленность на создание нового, развитие

взаимодействия с другими людьми на основе авторитета и признания. Отсутствие в факторной структуре высоких значений переменных динамического аспекта личностно-профессиональной диспозиции, свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточной сформированности способов реализации опыта профессионализации в реальную действительность.

В группе 4 (уровень неопределенности личностно-профессионального саморазвития) также представлен только содержательный аспект личностно-профессиональной диспозиции, в котором отражается характер направленности человека на служение своей профессии. В выборке рабочих эта характеристика значима и имеет прямую связь с ориентацией на новизну и разнообразие деятельности, но обратную с установкой на обретение профессиональной компетентности и самосовершенствование вне работы. В выборке педагогов направленность на служение делу противопоставляется карьерной ориентации на свободное предпринимательство и самосовершенствование вне работы при значимости последних.

На выборке студентов получена качественно иная структура личностно-профессиональной диспозиции. В первый фактор во всех группах этой выборки вошли переменные, которые отражают особенности мотивационной основы личностно-профессионального саморазвития, во второй – его целевой основы. В факторной структуре представлен только содержательный аспект личностно-профессиональной диспозиции, что указывает на недостаточную сформированность способов реализации опыта, характерную для стадии профессиональной подготовки. Важным является отсутствие в студенческой выборке альтернативности в основании интегральных характеристик на уровнях самоорганизации и преобразования, что свидетельствует о слабой дифференцированности возможностей выбора направлений саморазвития. Выявленные интегральные характеристики обнаруживают непротиворечивые идеализированные представления будущих педагогов о возможностях проявления себя в профессии. В группе 1 представлена направленность на целостное проявление себя как развивающегося профессионала, в группе 2 – на проявление себя как организатора деятельности и взаимодействия, в группе 3 – на проявление себя как

организатора собственного дела. Лишь в группе 4 (уровень неопределенности личностно-профес-сионального саморазвития) обнаруживается альтернативность в содержании интегральной характеристики: направленность на комфорт и личное благополучие противопоставляются ориентации на новизну и разнообразие деятельности.

Таким образом, выполненное исследование позволило выявить интегральные характеристики личностно-профессиональ-ной диспозиции у людей, различающихся по типу деятельности и стадии профессионализации. Выдвинутое нами предположение о представленности в их структуре ключевых альтернатив проявления человеком себя в профессии подтверждено на выборках представителей репродуктивного и продуктивного типов деятельности, находящихся на стадии реализации профессиональной деятельности (табл. 1). Вариативность проявления интегральных характеристик на разных выборках связана со спецификой социально-экономического позиционирования профессии в обществе. Для рабочих при выборе направления саморазвития в профессии акцентируется обретение статуса, авторитета, личного благополучия, комфортных условий жизнедеятельности. Для педагогов актуальным является осознание противоречивого статуса своей профессии в социуме, направленность на обретение финансовой стабильности и защищенности. На выборке студентов представленность ключевых альтернатив обнаружена только на уровне неопределенности (направленность на личный комфорт или деловую активность), на других уровнях выявлена идеализация представлений будущих педагогов о возможностях преобразования себя в профессии.

Таблица 1.

Ключевые альтернативы выбора направления преобразования человеком себя как профессионала на разных стадиях профессионализации

Уровни личностно-профессионального саморазвития	Ключевые альтернативы	
	Стадия реализации профессиональной деятельности	Стадия подготовки к профессиональной деятельности
Самоорганизации	Направленность на проявление себя как	Направленность на проявление себя как

	организатора деятельности или взаимодействия	организатора деятельности и взаимодействия
Преобразования	Направленность на обретение статуса или стабильности, защищенности	Направленность на проявление себя как организатора собственного дела
Неопределенности	Направленность на служение своей профессии или отчуждение от нее	Направленность на личный комфорт или деловую активность

Выполненное исследование создает основу для реализации следующего этапа проверки предложенной модели: выявление позиционирования ценности профессиональной самореализации в структуре личностно-профессиональной диспозиции.

© Минюрова С.А., 2007

Е.А.Нахимова
Екатеринбург

Детская литература как источник прецедентности (по материалам Интернета)

В современной массовой коммуникации активно используются элементы интертекстуальности: прецедентные феномены, цитаты и квазицитаты, реминисценции и аллюзии, явная и скрытая полемика. Во многих текстах интертекстуальность становится не единичным приемом, а ведущим композиционным принципом, что характерно для постмодернистской парадигмы. Адекватное восприятие материалов современных СМИ возможно только в дискурсе, с учетом множества фоновых знаний из различных областей культуры, а следовательно, требует специального подхода, учитывающего современные методики интерпретации текста. Специальные наблюдения показывают, что прецедентные феномены, восходящие к одной сфере-источнику, нередко образуют своеобразное поле прецедентных феноменов, в составе которого выделяется целая система прецедентных имен, событий, высказываний и текстов, образующих развернутую подсистему фреймов. Подобное поле во многом оказывается аналогичным ментальному полю, служащему источником для метафорической модели, однако между двумя указанными феноменами можно обнаружить и существенные различия.

В современной массовой коммуникации значительное место занимают прецедентные концепты, восходящие к детской литературе. В частности, врач часто обозначается как *доктор*

Айболит, милиционера называют *дядя Степа*, простодушного человека – *Незнайка*. Достойное место в этой команде занимают герои сказки А.Н. Толстого «Приключения Буратино или Золотой ключик», образующие развернутый фрейм прецедентных феноменов. В частности, в «Национальном корпусе русского языка», представленном в Интернете (режим доступа: ruscorpora.ru), содержится 133 документа (около 300 контекстов), включающих имя «Буратино» (отметим, однако, что примерно в половине контекстов имеется в виду напиток, названный по имени героя сказки, соответствующая игрушка, или спектакль по мотивам указанной сказки). Аналогичные материалы широко представлены и на сайтах ведущих российских газет («Известия», «Комсомольская правда». «Аргументы и факты», «Завтра», «Российская газета»). Именно эти источники и послужили предметом рассмотрения в настоящей публикации.

Если использовать классификацию прецедентных феноменов, предложенную Д.Б. Гудковым, В.В. Красных, И.В. Захаренко и Д.В. Багаевой [1], то в рассматриваемом фрейме можно обнаружить следующие составляющие.

1. Прецедентные тексты – сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино» и ее итальянский первоисточник, а также написанные по их мотивам музыкальные постановки и песни. Ср.: *Впрочем, доверчивых адептов ожидает судьба "коммерческой" карьеры деревянного* ***Буратино****, оказавшегося на вожделенном поле чудес в стране дураков. Гениальная пародия графа Алексея Толстого в жанре итальянской сказки задолго до ваучеризации и приватизации рельефно выявила реальный финансовый подтекст банковских манипуляций и пирамид, связь их с криминалитетом, а также пагубность предпочтения сиюминутных развлечений новым знаниям* (И.Л. Андреев // Вестник РАН, 2004). *Это Аксаков присвоил сказку, придуманную еще в 1757 году французской писательницей Жанной-Мари Лепринс де Бомон, подобно тому, как Алексей Толстой переписал итальянского Пиноккио в* ***Буратино****, а Николай Волков из чужой "Страны Оз" сотворил свой "Изумрудный город"* (Валерий Кичин // Известия, 2002.12.20).

2. Прецедентные имена. В современных СМИ прецедентные имена рассматриваемой группы постоянно используются для обозначения тех или иных качеств: (простодушный *Буратино – кукла,* изготовленная из полена, злобный *Карабас Барабас,* долгожительница *черепаха Тортила,* красивая кукла *Мальвина,* хитрая *лиса Алиса,* ее спутник *кот Базилио,* доблестный *пудель Артемон* и др.). Ср.: *Вспоминается история с* ***Буратино****. Деревянный парень запретил укорачивать себе нос. Это было первое его своеволие. Затем последовала череда самостоятельных поступков, от которых* ***папа Карло*** *пришел в уныние. То же самое прослеживается и в настроениях российских политических* ***Карлов*** (А. Лысков // Завтра. 18.01.2000). *Но издательства нелюбопытны, они не желают рисковать, покупая кота в мешке, поэтому те, кто мог бы создать новых* ***Буратино*** *и Чебурашек, гробят силы, молодость и талант на детские (и не детские, кстати, тоже) розовые романы и ужастики* (Ева Датнова. Возвращение на кухню – Материалы Национального корпуса русского языка). *Если получится* ***Буратино****, найдем среди вас* ***папу Карло*** (А.Лившиц // Известия, 2003.02.27).

Весьма показательны и параллели, которые проводят авторы современных текстов массовой коммуникации: Григорий Явлинский – *плачущий Пьеро*, Борис Березовский – *папа Карло или Карабас-Барабас*, Ирина Хакамада – *лиса Алиса*, Владимир Путин – *Буратино*… Одним из ярких примеров развертывания подобной метафоризации может служить следующий фрагмент из статьи Юрия Зайнашева «Наследник деревянной куклы» (Московский комсомолец, 02.04.2000).

Буратино появился так. Вместо того чтобы работать с документами, ***Мама Карла дель Понто*** *весь вечер столярничала. Из первого попавшегося полена ей приспичило сделать сыночка. Наследника. Имя ему Мама сочинила сразу — Буратино.* ***Мама Карла*** *очень хотела, чтобы сыночек вырос честным и боролся с коррупцией. Преемник бежал по тропе, зажимая березовыми ладонями пять золотых монет. Мама отрядила его купить азбуку на Западе. Но она зря надеялась. Буратино свернул с пути, указанного ему* ***Мамой Карлой.***

Сделали это одноглазый ***кот Базилио-Березовски*** *и* ***лиса Алиса-Дъяченка.***

3. Прецедентные высказывания: «*Богатенький Буратино», «поле чудес в стране дураков», «крекс, фекс, пекс»* и др. Отметим, однако, что такие высказывания восходят преимущественно не к тексту Алексей Толстого, а к вторичным текстам, созданным по мотивам рассматриваемой сказки. Ср.: В массовость столь дорогих торгов, впрочем, верится с трудом — если и нашлись "**богатенькие *буратино***", то не больше десятка. Кстати, именно столько в палате малоизвестных московских бизнесменов, чья связь с избравшими их регионами плохо прослеживается (П. Акопов // Известия, 2002.30.01). Как было сказано в "*Буратино*", "**пациент либо жив, либо мертв**" (Александр Генис // Довлатов и окрестности).

4. Прецедентные ситуации, то есть описанные А. Толстым ситуации, к которым обращаются авторы современных текстов в поисках источника для аналогии, способа нетривиальной оценки современных событий или инструмента для моделирования действительности. Ср.: *Папа Карло, создавший ожившую куклу; Буратино, закопавший свои деньги на поле чудес и ожидающий урожая; кот Базилио и лиса Алиса, стремящиеся обмануть простодушного мальчика* и др. Ср.:

Но обеспечивает ли выглядящий нарисованным результат выборов настоящую стабильность, настоящий контроль над республикой? Папа Карло, помнится, ***сиживал в своей каморке у нарисованного очага и воображал, что ужинает*** *— так что даже расстроился, когда* ***Буратино сорвал холст, чтобы открыть им настоящую дверцу.*** *Сейчас Ахмад Кадыров размахивает точно таким же холстом перед глазами Владимира Путина, убеждая Кремль в реальности нарисованной картины и ненужности искать подлинное решение чеченской проблемы — чего его, в самом деле, искать-то, когда все так хорошо изображено* (В. Портников. **Папа Карло** из Грозного // ПОЛИТКОМ.РУ, 2003.03.25).

В десяти метрах от контрольно-пропускного пункта, отделяющего Ставрополье от Карачаево-Черкесии, — захудалое придорожное кафе. Над входом в пункт питания краской выведено: “Поле чудес”. Карачаево-Черкесская

Республика сегодня, и правда, – ***поле чудес, где российские власти, подобно Буратино, все закапывают и закапывают деньги. И с упорством деревянного мальчика твердо верят, что совсем скоро денежки прорастут стабильностью и безопасностью****. Результат, как и полагается, сказочный: Карачаево-Черкесия может стать второй Чечней* (С.Метелева // Известия, 16.12.2002).

В отдельную группу можно выделить **прецедентные атрибуты** – постоянные приметы облика героев (*длинный нос Буратино, красивые волосы Мальвины, борода Карабаса Барабаса*), а также важные для развития сюжета прецедентные **артефакты** (*золотой ключик, картина, за которой скрывалась дверца, поле чудес* и др.).

Можно предположить, что использование в текстах современных СМИ подобных прецедентных феноменов далеко не случайно. Авторы уверены в том, что сказка А.Н. Толстого, как и многие другие произведения детской литературы, хорошо знакома современным читателям, а поэтому соответствующие аллюзии будут правильно восприняты. Если XIX век начинался с активизации прецедентных феноменов, восходящих в античности, в прошлом веке максимально активными были прецедентные феномены, восходящие к русской классической литературе, то в наступившем веке закономерно ожидать активизации новых сфер-источников. Все отчетливее в массовой коммуникации прослеживается тенденция к сокращению аллюзий, ориентированных на знакомство с текстами классической литературы, и активизации отсылок к максимально простым и общедоступным источникам прецедентности.

Целенаправленный анализ прецедентных феноменов, функционирующих в современных СМИ, с учетом источников прецедентности и возможных смысловых трансформаций может способствовать обнаружению специфических свойств современной массовой коммуникации и выявлению тенденций в развитии медийного дискурса.

Несомненный интерес представляет рассмотрение закономерностей использования прецедентных феноменов, относящихся к рассматриваемому фрейму, в конкретных

текстах. На первом этапе исследования разграничим случаи, когда прецедентный концепт Буратино оказывается в тексте единичным, не связанным с другими прецедентными феноменами, и случаи, когда прецедентный концепт выступает в составе целого фрейма прецедентных феноменов. По количеству словоупотреблений заметно преобладает первый вариант использования указанного концепта.

Значительно меньше распространен (но более интересен) второй вариант использования рассматриваемого концепта, когда *Буратино* оказывается в составе целого фрейма прецедентных феноменов, играющего важное место в композиционной и эстетической организации текста.

Рассмотрим закономерности развертывания указанного фрейма в статье Натальи Галимовой «Поле чудес», опубликованной в газете «Московский комсомолец» 15 сентября 2003 года.

Акцентирование фрейма «*Приключения Буратино*» в данной статье начинается уже с самого заголовка, в качестве которого выступает прецедентное высказывание «*Поле чудес*». Далее следует интригующий подзаголовок «Папой Буратино был Абрам», представляющий собой формальную и смысловую трансформа-цию прецедентного имени *Папа Карло*. Это привлекает внимание читателей, хорошо помнящих текст детской сказки, и заставляет их продолжить чтение, чтобы выяснить причины заведомо неверного утверждения.

Использование прецедентных феноменов, восходящих в указанной сказке А.Н.Толстого, активно продолжается в начальном абзаце рассматриваемой статьи, где обсуждается отчество и фамилия Буратино и авторство соответствующей сказки. В результате оказывается, что в данном контексте сын папы Карло действительно должен быть Абрамовичем и носить фамилию Березовский. Далее обнаруживаются и нетрадиционный подход к определению авторства сказки.

Кто бы мог подумать, что фамилия ***Буратино*** *– Березовский? И что отчество у него вовсе не* ***Карлович****, а Абрамович? Тайна* ***деревянного мальчика*** *была раскрыта в субботу на съезде “Либеральной России” Березовского, когда в концертном зале “Измайлово” зазвучала финальная песенка из знаменитого* ***фильма-сказки про золотой ключик****. После*

вопроса: “Скажите, как его зовут?” – прозвучало не привычное уху ***“Бу-ра-ти-но”****, а неожиданное “Бе-ре-зов-ский”. Присутствующие тут же засомневались в* ***авторстве сказки****: может,* ***ее написал вовсе не Толстой****, а друг БАБа Юлий Дубов, который уже “обессмертил” Березовского, сняв фильм “Олигарх”.*

Развертывание фрейма продолжается (хотя и менее активно) во втором абзаце рассматриваемой статьи, где обнаруживаются *Мальвины* и *Карабасы-Барабасы*, участвующие в празднике на «*поле чудес*». Все это позволяет акцентировать концептуальный вектор карнавальности и несерьезности происходящего, что, разумеется, дискредитирует столь серьезное политическое событие, как съезд партии, претендующей на политическое влияние в России и активное участи в избирательной кампании. Ср.:

Сторонники Бориса Абрамовича решили превратить съезд в ***поле чудес.*** *Более 600 делегатов походили на гигантские лимоны, нарядившись в ярко-желтые толстовки с надписью “Berezovsky team” (то бишь “команда Березовского”). Наиболее остроумные прозвали толстовки “березовками”. Лидер партии Иван Рыбкин “березовку” не надел. “Я похудел на 16 кг, все майки на мне болтаются как на дубине”, – пожаловался он. Дважды “подберезовики” устраивали фейерверк. На сцене “распускались” диковинные искусственные цветы, а с потолка сыпались нарядные ленты. Впрочем, не только они: в опасной близости от журналистов пролетели гигантский болт и кусок пластмассы. В большом ассортименте были представлены* ***Мальвины*** *– девушки из модельного агентства, которых пригласили в качестве украшения. Не обошлось без* ***карабасов-барабасов****: в зал неожиданно ворвались люди в униформе и масках и заорали: “Не двигаться!” Лица делегатов напряглись. Но вскоре выяснилось, что это проделки товарищей. “Это шутка, – заявил и.о. сопредседателя партии Виктор Курочкин. – Но, пока в нашей стране режим Путина, это может стать реальностью”. “Режиму Путина” еще повезло: его выставили в довольно безобидном свете. Изначально планировалось, что “захватчики” будут вооружены и откроют стрельбу*

холостыми патронами, но администрация “Измайлово” стрелять запретила.

Составляющие рассматриваемого фрейма не представлены в двух следующих абзацах статьи, но зато они вновь появляются в концовке текста, где пересекаются концептуальные фреймы «Буратино» (кукла, сделанная из полена) и Березовский, сторонники которого обозначаются как «подберезовики» и «березовцы», что акцентируют сему «дерево». Все это напрямую связано с общим смыслом статьи, в которой съезд партии представлен как действо, весьма похожее на кукольную жизнь, описанную Алексеем Толстым. Ср.:

*Компания подобралась что надо. Да и делегаты тоже. Утвердили письмо правительству и королеве Великобритании, в котором выражали благодарность за участие в деле Березовского. А вот о своей судьбе на выборах рассуждали равнодушно. Сейчас сторонники БАБа судятся с Минюстом, оспаривая право участвовать в выборах. Но глава ЦИК Александр Вешняков назвал притязания “**подберезовиков**” абсурдом: мол, в выборах имеет право участвовать “ЛибРоссия” Похмелкина. “Ну не зарегистрируют нас. Подумаешь”, – пожимали плечами **березовцы**. Действительно, чего волноваться? БАБ исправно платит своим сторонникам зарплату (лидеры региональных отделений, по информации “МК”, получают $3 тыс.), а они исправно создают шумную оппозиционную массовку. Альянс **богатого Буратино** и **хитрых котов Базилио** наверняка будет длиться до тех пор, пока Березовскому хочется, чтобы о нем говорили в России. А желание это вряд ли привязано только к выборам.*

При знакомстве с представленной статьей легко заметить, что прецедентные феномены являются подлинным структурным, смысловым и стилистическим центром этой публикации. Они в значительной степени обеспечивают целостность и связность текста, поскольку развертывание поля начинается уже в заголовке статьи и максимально развивается в наиболее сильных позициях текста: в его начальной и заключительной части.

Рассмотренные примеры (а также многие другие) показывают, что ментальное поле прецедентных феноменов со

сферой-источником «Детская литература» обладают широкими возможностями для развертывания в текстах современной массовой коммуникации. Одним из наиболее активных в названном поле оказался фрейм «Приключения Буратино». Использование названного фрейма часто носит иронический характер и позволяет выразить негативное отношение к некоторым участникам соответствующей ситуации, а также многие иные концептуальные смыслы. Вместе с тем аллюзии, связанные с детской литературой, легко воспринимаются читателями и нередко помогают автору ярко представить какие-то важные детали, образно охарактеризовать соответствующую ситуацию и ее активных участников.

Специалисты по русской культуре уже отмечали ее «литературоцентризм», высокий авторитет писателей и постоянное обращение к художественным текстам в самых различных сферах коммуникации [2]. Наши наблюдения показывают, что на современном этапе развития для отечественной массовой коммуникации (а возможно, и для российской культуры в целом) особенно характерно обращение к ресурсам детской литературы и иным наиболее доступным источникам. Особенно часто аллюзии связаны с литературными текстами, популярность которых поддерживается хорошими инсценировками, популярными песнями или римейками.

Литература

Гудков Д.Б., Красных В.В., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Некоторые особенности функционирования прецедентных высказываний // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. – 1997. – № 4.

Кондаков И.В. Антропология русской словесности: литературоцентризм // Современные трансформации российской культуры / отв. ред. И.В. Кондаков. – М., 2005.

Национальный корпус русского языка. Режим доступа: ruscorpora.ru.

© Нахимова Е.А., 2007

Т.В.Попова
Екатеринбург

Антропоориентированность функциональной грамматики: проект хрестоматии

Грамматика, будучи глубинным уровнем языка, постоянно привлекает внимание лингвистов. По мнению Г.А. Золотовой, «несовершенство существующих грамматик, неизбежное расстояние между научным концептом и реальным устройством объекта, таинственная притягательность еще не пройденного пути познания, который никому не дано пройти до конца, – все это побуждает вновь и вновь предпринимать опыты грамматического исследования языкового строя» [Золотова 1995: 65]. Возникают новые виды грамматических описаний: их предлагает генеративная

и коммуникативная, активная и пассивная, лево- и правополушарная, дескриптивная и ассоциативная грамматики.

Одним из перспективных направлений грамматических исследований является функциональная грамматика – комплексная область знания, которая анализирует факты языка в направлении от содержания (функциональной нагрузки) к форме, от целей, намерений человека – к тексту, от функций языка – к их речевым воплощениям. Функциональная грамматика в настоящее время – это целый комплекс грамматических теорий, авторы которых убеждены, что язык, будучи человеческим образованием, не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользователем. Функциональная грамматика исследует:

- семантические категории, стихийно выделенные человеком и являющиеся основой для функционально-семантической стратификации языка (теория ФСП А.В. Бондарко, идеографическая грамматика В.А. Белошапковой и И.Г. Милославского);
- тесную переплетенность грамматической, лексической и прагматической информации в языковых единицах (лексикализованная грамматика Е.С. Кубряковой);
- роль грамматики и ее механизмов в порождении текстов (коммуникативная грамматика Г.А. Золотовой, коммуникативный синтаксис М.В. Всеволодовой, Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой);
- динамические процессы, характерные для современного русского языка, и многое другое.

Представляется, что знакомство с функциональной грамматикой необходимо для формирования мировоззрения современного филолога, для его профессиональной подготовки. Во-первых, этот интеграционный курс позволяет обобщить и углубить знания студентов, полученные ими в процессе изучения современного русского языка: если традиционная грамматика изучает функции и семантику единиц определенного языкового уровня, то функциональная грамматика из отдельных разнотипных единиц формирует новые функционально-семантические общности – поля (ФСП),

объединяющие элементы разных уровней. Во-вторых, функциональная грамматика в большей степени, чем структурно-семантическая, уровневая грамматика, соответствует процессу порождения речи: она, как и процесс порождения речи «идет» от семантики, содержания, которое необходимо передать, к языковым средствам, позволяющим сделать это, в то время как традиционная грамматика исследует функционально-семантический потенциал языковых единиц. В-третьих, полевое представление о грамматике хорошо коррелирует с тем, в какой форме хранится грамматическая информация в сознании человека.

Учитывая значимость этого вида описания языка, курс «Функциональная грамматика» был введен в учебный план студентов-филологов Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Но, к сожалению, он не обеспечен в достаточной степени учебной и научной литературой. В научных библиотеках города представлены лишь некоторые работы по функциональной грамматике, причем в единичном экземпляре. Поэтому они малодоступны студентам.

Проблемы функциональной грамматики почти не отражены в учебной литературе для вузов. Об этом свидетельствует и обзор учебной литературы, обеспечивающей вузовский курс «Современный русский язык» [Поцепня, Смирнов 2004: 293-335]. Специальный раздел по функциональной грамматике включен только в учебник «Современный русский литературный язык», вышедший под редакцией акад. РАО В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова в издательстве «Гайдарики» (Москва, 2003). В главе 8 раздела 8 описывается функционализм современной русистики, анализируются функционально-коммуникативная грамматика (ФКГ) Г.А. Золотовой, Петербургская школа функциональной грамматики А.В. Бондарко (ТФГ) и теория функционально-коммуника-тивного синтаксиса М.В. Всеволодовой (ФКС), т.е. только 3 из всех существующих в настоящее время теорий этого направления. В учебнике в разделе 9 «Активные процессы в современном русском языке» отражены также динамические процессы в современном русском языке [Современный… 2003: 693-760].

Недостаточность учебно-методического обеспечения курса обусловило необходимость создания хрестоматии по функциональной грамматике, которая включала бы в себя самые значимые, фундаментальные исследования в этой области.

При создании хрестоматии целесообразно опираться на широкое понимание функциональной грамматики, которое основывается на двух основных понятиях – понятиях функции и функционирования языка. Узкое понимание этой дисциплины обычно основывается на одном из указанных понятий.

Широкое понимание функциональной грамматики обусловливает программу дисциплины, которая может быть примерно следующей.

Особенности развития лингвистики в конце XX в. Понятие о научной парадигме, установочно-целеполагающие, предметно-познавательные и процедурные признаки научных парадигм современного языкознания. Смена структурно-семантической парадигмы антропоцентрической, функциональной и генеративной парадигмами. Полипарадигмальность современной лингвистики, объективные причины этого: недискретность, континуальность языковых явлений во временном, пространственном, структурном и функциональном аспектах; асимметрия формы и семантики языкового знака; полиаспектность объекта изучения лингвистики. Субъективные причины: нежесткий характер понятий, которыми оперируют лингвисты; избирательность субъекта познания по отношению к субъекту. Экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, экспланаторность как отличительные особенности современной лингвистики.

Функциональная лингвистика как совокупность школ и направлений, характеризующихся преимущественным вниманием к функционированию языка и / или его функциям. Соотношение понятий «лингвистическая традиция», «лингвистическое направление», «лингвистическая школа». Основные черты функциональной лингвистики: телеологическая, системно-структурная и коммуникативная ориентированность исследований.

Функции языка и языковых единиц как объект изучения функциональной грамматики. Соотношение понятий

«функция», «семантика», «употребление». Функции языка общие (коммуникативная, когнитивная, эмоциональная, метаязыковая) и частные. Функции языка и речи, принципы их разграничения (по степени обязательности для всех речевых актов, по роли в речевом акте и др.). Функции языковых единиц: первичные и вторичные; основные и производные; структурные, семантические и структурно-семантические. Социальные функция языка. Функциональная классификация языков. Язык макропосредник; региональный, местный, профессиональный и др. Мировые языки, их виды (глобальные и региональные; естественные и искусственные: априорные и апостериорные) и признаки: высокий уровень акционального и системно-структурного развития, глобальность распространения, институционализация.

Основные направления функционально-грамматических исследований. Внутрифункциональный и внешнефункциональный подходы. Коммуникативный и формальный функционализм (В.З. Демьянков). Типология функциональных подходов А.В. Бондарко. Функциональное словообразование – функциональная морфология – функциональный синтаксис. Направления ФГ но объекту и целям исследования: функционально-семантичес-кое, функционально-стилистическое, функционально-коммуникативное, функционально-генеративное, функционально-типологическое, функционально-динамическое.

Функциональная грамматика как новый этап в развитии грамматики. Грамматикоцентризм современной лингвистики, отказ от логоцентризма традиционного языкознания. Ю.Н. Караулов о видах современных грамматических описаний (дескриптивная, порождающая, функциональная, ассоциативная, активная, пассивная грамматики) и их связи с формами существования языка (язык – текст, язык – система, язык – способность).

Основные принципы функциональной грамматики (ФГ): семантикоцентризм, внимание к среде функционирования языкового знака, единство функционального и системного описаний. Соотношение функциональной и традиционной грамматик по объекту, цели, направлению анализа и

генетическим связям.

Источники функциональной грамматики (ФГ). Объективные предпосылки для появления функционально-грамматических исследований. Источники ФГ; функционализм в широком, смысле (Пражский лингвистический кружок, Е. Курилович и др.), семантические категории И.И. Мещанинова, идеи В.В. Виноградова о соотношении синтаксиса и морфологии, модальности и категории наклонения; теория полевых структур в языке; идеи активной и пассивной грамматик (Л.В. Щерба и др.); ономасиологические исследования и др.

Функциональная морфология. Основные понятия и проблемы функциональной морфологии. Санкт-Петербургская школа ФГ. Функционально-семантические поля (ФСП) с предикативным (аспектуальность, модальность, темпоральность), с предикативно-обстоятельственным ядром (локативность, бытийность, обусловленность); субъектно-объектным (субъектность, персональность, объектность, залоговость) и качественно-количественным ядром.

Другие направления функциональной грамматики (идеографическая грамматика, лексикализованная грамматика, «грамматика говорящего» Б.Ю. Нормана и др.).

Функциональный синтаксис. «Коммуникативная грамматика русского языка» Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой. Исходные теоретические положения. Место синтаксиса и текста в языке и речевой деятельности. Роль человека в порождении текста. Основные синтаксические понятия: синтаксическая форма, словосочетание, высказывание, коммуникативный регистр, коммуникативные тактики и стратегии, текст. Языковая личность и виды коммуникативных регистров в текстах, ею порождаемых. Языковые средства и коммуникативные регистры. Коммуникативная грамматика и синонимия языковых средств. Функциональная парадигма слова и «Функциональный словарь русских глаголов».

Теория функционально-коммуникативного синтаксиса М.В. Всеволодовой. Синтаксическая и коммуникативная парадигмы предложения. Синтаксическое поле предложения (СПП) как синтаксическая парадигма. Структура СПП.

Языковые механизмы: коррекционные (смысловые и формальные) и коммуникативные (актуализационные и интерпретационные). Типы синонимических перифразировок.

Семантический синтаксис (Т.В. Шмелева, М.В. Всеволодова и др.). Семантика предложения. Диктумные и модусные смыслы. Денотативная ситуация и ее структура. Денотативные поля: предикаты и партиципанты. Предикаты и их виды. Типы предложений по виду предиката. Актанты и сирконстанты как виды партиципантов. Их типология. Модальная рамка предложения (высказывания).

Функциональное словообразование. Полевой подход к анализу словообразовательных единиц. Деривационно-семантическое пространство и его составляющие.

Роль словообразования в создания языковой картины мира. Словообразовательное значение, деривационно-семантическое пространство и языковая картина мира.

Функционально-коммуникативное словообразование. Словообразование как деятельность. Виды словообразовательных актов по их механизму: дефиниционное, корреляционное, аналогическое словообразование (Е.С. Кубрякова). Стилистический аспект словообразования (В.Н. Виноградова).

Словообразование и текст. Функции словообразования: номинативная, компрессивная, конструктивная. Виды текстовых номинаций: собственно номинативная («крещение новым именем»), поясняющая, корректирующая, градуирующая, интенсифицирующая. Эпидигматические связи в тексте (Д.Н. Шмелев). Фокализация морфем в тексте (Л.Н. Мурзин).

Функционально-динамическое направление ФГ. Особенности функционирования русского языке в конце XX в. Особенности состояния современного русского языка и основные тенденции его развития как объект исследования функционально-динамической грамматики. Причины языковых изменений: внутриязыковые и экстралингвистические. Антиномии как источник развития языка. Разрешимые и неразрешимые противоречия в языке. Новые явления в фонетике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе современного русского языка.

Широкое понимание функциональной грамматики обусловливает и структуру хрестоматии. Последняя может состоять из **4-5 основных разделов**.

Работы **первого раздела хрестоматии** «Особенности современной лингвистики» должны выявить основные черты современного языкознания, в рамках которого развивается функциональная грамматика. К таким работам относятся прежде всего исследования Е.С. Кубряковой «Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века» [Кубрякова 1995: 144-238] и В.Г. Гака «О плюрализме в лингвистических териях» [Гак 1998: 13-31]: в первом раскрываются такие особенности современной лингвистики, как полипарадигмальность, экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, экспланаторность, во втором – объективные и субъективные основы полипарадигмальности современного языкознания. Исследование В.Д. Демьянкова «Доминирующие лингвистические теории конца XX века» [Демьянков 1995: 239-320] дает представление о достоинствах и недостатках функциональной лингвистики, работа В.Г. Гака «Функциональный подход в истории языка» [Гак 1998: 106-125] – о существующих видах функционального описания языка: внутрифункциональное и внешнефункциональное описание; коммуникативный и формальный функционализм (В.З. Демьянков); функциональное словообразование – функциональная морфология – функциональный синтаксис (А.В. Бондарко); функционально-семантическое / стилистическое / коммуникативное / генеративное / типологическое / динамическое описания и др.

Второй раздел хрестоматии «Антропоцентризм современной лингвистики» должен содержать исследования, в которых представлен анализ человеческого фактора в языке: функциональная грамматика по своей природе антропоцентрична, поскольку анализирует грамматическую категоризацию мира, установленную человеком, исследует использование языка человеком. Это работы:

– по теории речевой деятельности и речевым актам (Ю.Д. Апресян, И.М. Кобозева, П. Серио, Ж. Гийому и Д. Мальдидье);

– о языковой личности (в работе Ю.Н. Караулова представлено теоретическое осмысление этого понятия, в работе К.Ф. Седова – психолингвистическая типология языковых личностей и примеры их описания);

– о концептуальной и языковой картинах мира (Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова, Б.А. Серебренников) и их составляющих: концептах (Е.С. Кубрякова), фреймах (В.Д. Демьянков), семантических сетях (Ю.Г. Панкрац), С-моделях (О.Л. Каменская);

– об эгоцентрических элементах языка (Е.В. Падучева, И.В. Труханова), в том числе о прагматике (Ю.Д. Апресян, Г.Н. Скляревская) и оценке (Н.Д. Арутюнова и В.В. Лопатин).

Третий раздел хрестоматии «Виды функциональных грамматик» должен состоять из работ, содержащих разные функционально-грамматические описания языка разных видов. Это описание:

– идеографической грамматики В.А. Белошапковой и И.Г. Милославского,

– лексикализованной грамматики Е.С. Кубряковой,

– теории функционально-семантических полей А.В. Бондарко,

– коммуникативной грамматики Г.А. Золотовой,

– коммуникативно-функциональной грамматики М.В. Всеволодовой, Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой.

В хрестоматию целесообразно включить также работы, описывающие в функциональном аспекте не только морфологию и синтаксис, но и словообразование: это исследования Е.И. Голановой, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, З.И. Резановой и др. Включение словообразования обусловлено тем, что традиционно в грамматике выделяются такие разделы, как морфология, синтаксис и словообразование.

В **четвертый раздел** «Функционально-динамическое направление функциональной грамматики» должны быть включены основные исследования по активным процессам современного русского языка [Акимова 1982, Динамика… 1982, Колесов 1998, Костомаров 1999, Русский язык и советское общество 1968, Русский язык конца XX в. 1996, Шапошников 1998 и др.].

Пятый раздел может включать работы сопоставительного и прикладного характера, в частности исследования, посвященные методике преподавания русского языка для иностранцев [Основы… 1991: 49-81].

Можно предложить и **иной вариант хрестоматии** по функциональной грамматике, отражающей более узкое понимание последней. Такая хрестоматия может быть построена как цикл семинаров по 2 основным разделам: «Функционализм как одно из ведущих направлений лингвистики рубежа XX-XXI вв.» (семинары 1-2) и «Виды функциональных грамматик» (семинары 3-7).

Семинар 1. Особенности современной лингвистики

1. Научная парадигма, ее признаки.

2. Полипарадигмальность современной лингвистики: сущность, объективные и субъективные причины.

3. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики:

а) экспансионизм: сущность, проявления;

б) антропоцентризм: сущность, проявления;

в) функционализм: сущность, проявления;

г) экспланаторность: сущность, проявления.

Семинар 2. Виды функциональных описаний языка

1. *Сущность понятий «функция» и «функционирование».*
2. *Функционализм как доминирующая теория конца XX в.*
3. *Виды функциональных описаний языка.*
4. *Признаки современного функционализма.*
5. *Недостатки современного функционализма.*

Семинар 3. Активные грамматики

1. Дескриптивный характер традиционных пассивных грамматик (грамматик для слушающего).

2. Виды пассивных грамматик.

Активные грамматики (грамматики для говорящего): основные признаки, психолингвистическая природа, причины появления, истоки.

3. *Виды активных грамматик.*
4. *Характеристика «грамматики говорящего» Б.Ю. Нормана.*
5. *Характеристика Ассоциативной грамматики Ю.Н. Караулова.*

6. Активные грамматики и особенности современной лингвистики.

7. Место активных грамматик в системе современных грамматических описаний языка.

Семинар 4. Семантикоцентричные грамматики

1. Семантикоцентризм современной лингвистики: сущность, истоки.

2. Признаки семантикоцентричных грамматик.

3. Причины отнесения семантикоцентричных грамматик к функциональным.

4. Виды семантикоцентричных грамматик:

а) когнитивная грамматика;

б) падежные грамматики;

в) лексикализованная грамматика;

г) идеографическая грамматика.

5. Значение семантикоцентричных грамматик для развития современной лингвистики.

Семинар 5. Функциональная морфология (Санкт-Петербургская школа функциональной грамматики А.В. Бондарко)

1. Истоки Санкт-Петербургской школы функциональной грамматики.

2. Принципы Санкт-Петербургской школы функциональной грамматики.

3. Единицы Санкт-Петербургской школы функциональной грамматики:

а) функционально-семантические категории и их соотношение с понятийными и грамматическими категориями;

б) функционально-семантическое поле (ФСП): принципы выделения, состав, типология;

в) среда (контекст) и ее (его) виды;

г) категориальная ситуация;

д) интерпретационные компоненты значения.

Семинар 6. Функциональный синтаксис

1. Семантический синтаксис Т.В. Шмелевой, М.В. Всеволодовой и др.:

а) диктумные и модусные смыслы предложения;

б) денотативная ситуация и ее структура;

в) виды предикатов;

г) Виды актантов и партиципантов.

2. Коммуникативная грамматика русского языка Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой:

а) исходные теоретические положения и понятия;

б) коммуникативные регистры: сущность, виды, значение для построения текста;

в) функциональная парадигма слова.

3. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса М.В. Всеволодовой:

а) синтаксическое поле предложения;

б) коммуникативная парадигма предложения;

в) коррекционные, актуализационные и интерпретационные механизмы языка.

Семинар 7. Функциональное словообразование

1. Полевой подход к анализу словообразовательных единиц.

2. Деривационно-семантическое пространство и его составляющие.

3. Виды словообразовательных актов по их механизму: дефиннционное, корреляционное, аналогическое словообразование (Е.С. Кубрякова).

4. Стилистический аспект словообразования (В.Н. Виноградова).

5. Словообразование и текст. Функции словообразования в тексте.

6. Виды текстовых номинаций.

В настоящее время существует большое количество работ по проблемам функциональной грамматики. Значительный объем научной литературы и невозможность включить в хрестоматию все наиболее интересные и значимые исследования обусловили необходимость их отбора. **Принципы отбора** работ для хрестоматии (в любом варианте хрестоматии) были следующими.

1. В хрестоматию целесообразно включать прежде всего те работы, которые можно считать классикой языкознания: это исследования А.Д. Апресяна, В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, Ю.Н. Караулова, Г.В. Колшанского, Е.С. Кубряковой, Е.В. Падучевой, В.И. Постоваловой, Б.А. Серебренникова и др.

2. Работы этих ученых содержат глубокие обобщения, обзоры значительного объема публикаций других исследователей, в том числе зарубежных, и представляются этапными в развитии современной лингвистики.

3. В этих работах полно и глубоко представлены не только уже сложившиеся направления функциональной грамматики (теории А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, М.В. Всеволодовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой), но и новые, находящиеся в процессе становления теории: «грамматика говорящего» Б.Ю. Нормана, право- и левополушарная грамматика Л.В. Сахарного (1994: 7-59), идеографическая грамматика В.А. Белошапковой и И.Г. Милославского (1988: 3-11), лексикализованная грамматика Е.С. Кубряковой (1995: 6-24), функциональное словообразование и др.

4. При отборе работ целесообразно учитывать не только их научную и учебно-познавательную значимость, но и степень «пространственной» доступности студенту. В хрестоматию должны войти исследования, опубликованные в малотиражных и не доступных студенту источниках.

Мы осознаем, что предлагаемая хрестоматия (в любом варианте) неполна, но объем ее ограничен. И даже в таком виде, на наш взгляд, она может быть полезной тем, кто изучает основные направления такой новой области знаний, как функциональная грамматика.

Литература

Акимова Г.Я. Новые явления в синтаксическом строе современного русского языка. – Л., 1982.

Белошапкова В.А., Милославский Я.Г. Вопросы идеографической грамматики русского языка // Идеографические аспекты русской грамматики. – М., 1988.

Гак В.Г. О плюрализме в лингвистических теориях // Гак В.Г. Языковые преобразования. – М., 1998.

Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука в конце XX века. – М., 1995.

Динамика структуры современного русского языка. – Л., 1982.

Золотова Г.А. Коммуникативная грамматика»: идеи и результаты // Русистика сегодня. – М., 1995. – № 3.

Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998.

Колесов В.В. Русская речь: Вчера. Сегодня. Завтра. – СПб., 1998.

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – СПб., 1999.

Кубрякова Е.С. Лексикализация грамматики: пути и последствия // Язык-система. Язык-текст. Язык-способность. – М., 1995.

Поцепня Д.М., Смирнов Ю.Б. Экспертное заключение об учебной литературе, обеспечивающей вузовский курс «Современный русский язык» //Современная русская речь: состояние и функционирование: Сб. аналитических материалов / Под ред. С.И. Богданова, Л.А. Вербицкой, Л.В. Московкина, Е.Е. Юркова. – СПб, 2004.

Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. – М., 1968.

Русский язык конца XX столетия (1985-1995). – М., 1996.

Сахарный Л.В. Человек и текст: две грамматики // Человек – текст – культура: Коллект. монография. – Екатеринбург, 1994. *Современный* русский литературный язык / Под ред. акад. РАО В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова. – М., 2003.

Шапошников В.П., Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом отображении. – М., 1998.

© Попова Т.В., 2007

М.Э.Рут, К.С.Гарипова
Екатеринбург

Номинативная личность и социум

Субъект номинации – наиболее активный компонент номинативной ситуации, однако его деятельность обусловлена целым рядом факторов, среди которых одним из важнейших оказывается социум, в который номинатор включен. Одним из социумнообразующих факторов является профессия: именно своей профессиональной среде мы проводим больше всего времени, именно явления, с профессией связанные, чаще всего пытаемся номинировать. Оказавшись «на чужом поле», мы все же реагируем на действительность «отсоциумно», опираясь на свой профессиональный опыт и на ту систему оценок, которую выработали в рамках социума. Именно этот тезис мы и попытались проверить с помощью ономасиологического эксперимента.

Было отобрано 18 субъектов, объединенных по роду деятельности в три группы: юристы, учителя, актеры. Число испытуемых в каждой группе – шесть человек. В качестве объектов номинации были подобраны комплекты понятий, близких одной из трех групп, по 10 объектов в каждом объекте. На первом этапе эксперимента испытуемым были представлены карточки с названиями явлений, свойственных их профессии, и предложено дать их повторную номинацию. Через некоторое время был проведен второй этап: тем же субъектам были предложены карточки с двумя группами явлений, свойственных другой профессии, с той же целью. Таким образом, каждому респонденту предлагалось номинировать 30 объектов. В целом каждая группа создала по 180 номинаций. Составляя различные комбинации, мы получили 540 номинаций, из которых следует исключить 14 случаев затруднений с ответами.

Интерес представляет выявление отличия между номинациями одних и тех же объектов, созданных лицами разных профессий: как субъект, компетентный в данной области, называет объект, и как тот же объект называет субъект, не компетентный в данной области.

В качестве именования можно было использовать как существующие в языке слова, так и создавать новые, применять одиночные слова для создания имени объекта или комплексы слов.

Представим полученный экспериментальный материал.

1. Номинации, связанные с профессией юристов

«Здание суда»:

юристы*:** *дом*, *государственный орган*, *судилище, правосудие* (2 номинации), *арбитраж*; ***учителя: *правосудие*, *дом правосудия*; *громадина*, *камера пыток*, *вершитель судеб*; ***актеры***: *судилище*, *место, где царит справедливость, дом правды*, *берлога зверя, место разборок, место разбирательств.*

«Кодекс»:

юристы: *книга*, *сборник*, *свод законов*, *власть*, *закон* (2 номинации); ***учителя***: *сбор законов*, *законник, честь*, *правило*, *библия*, *заповеди*; ***актеры***: *правило, собрание сочинений*, *бумажный закон*, *библия юриста, талмуд* (2 номинации);

«Адвокат»:

юристы: *защитник* (6 номинаций); ***учителя***: *защитник* (3 номинации), *заступник*, *SOS*, *классный мужик*; ***актеры***: *за*, *противник неправды*, *интеллигентный жулик, бессовестный юрист, волк*.

«Прокурор»:

юристы: *обвинитель* (5 номинаций), *сволочь*; ***учителя***: *обвинитель*, *обвиняющий*, *присудитель*, *заваливатель*, *пуп земли*; ***актеры***: *обвинитель* (2 номинации), *обвиняющий*, *против*, *в меру тупой, засиратель*.

«Судья»:

юристы: *правотворец*, *праведник* (2 номинации), *наблюдатель, рефери, правосудие*; ***учителя***: *атрибут власти*, *бог* (2 номинации), *дятел*; ***актеры***: *морж*, *садист, безразличный*, *бог в зале суда, вершитель*.

«Присяга»:

юристы: *клятва* (5 номинаций), *обещание*; ***учителя***: *клятва* (2 номинации), *обязательство*, *отдача чести*, *верность*; ***актеры***: *клятва* (4 номинации), *обет*, *заведомая ложь*.

«Обвиняемый»:

юристы: *жертва* (2 номинации), *труба*, *виновный* (2 номинации), *нарушитель*; ***учителя***: *человек, который попался*, *жертва, бедняга*, *виновник, заяц в клетке, совершивший проступок*; ***актеры***: *жертва, бедный Йорик*, *жулик, пропащий человек, лох* (2 номинации).

«Защитное слово»:

юристы: *речь*, *оправдание* (4 номинации), *последнее слово*; ***учителя***: *оправдание* (2 номинации), *защита*, *речь "за", защитка*; ***актеры***: *речь адвоката, последняя речь, последний шанс*, *щит, оргазм адвоката, отмаз*.

«Обвинительная речь»:

юристы: *выступление* (2 номинации), *речь прокурора* (2 номинации), *прокурорское слово*, *изобличения*; ***учителя***: *осуждение, обвинение, речь "против"*, *завал, донос*; ***актеры***: *сжатое воссоздание картины происшествия*, *нож, забивание денег, попытка посадить, катарсис прокурора, наезд*.

«Юрист»:

юристы: *профессия*, *знающий право, правовед* (2 номинации), *продажность*; ***учителя***: *правовик, блюститель законов, законник* (2 номинации), *болтливый человек, размноженный листочек*; ***актеры***: *прощелыга, очковтиратель, болтун, засранец и всё, скучно!, умник*.

2. Номинации, связанные с профессией учителя

«Школа»:

учителя: *дом знаний, знание, азы науки*, *дети*, *гранит науки*, *место работы* ***юристы***: *дом знаний, учебное заведение*, *дом*, *дом родной*, *храм науки, храм знаний*; ***актеры***: *дом науки, учреждение*, *предвуз*, *учёха*, *alma mater*, *Голгофа*.

«Урок»:

учителя: *отдача знаний, передача, познание мира, знание*, *напряг*; ***юристы***: *сорок минут* (2 номинации), *отрезок времени*. *учеба*, *мучение, испытание*; ***актеры***: *пара, лекция*, *дорога к знаниям, знаниедавалка, пытка, сорок минут ожидания*.

«Звонок»:

учителя: *сигнал, сирена, ограничитель* (2 номинации), *мера*, *звонкорадость*; ***юристы***: *сигнал, гудок, трель*, *ожидание, благовест, расслабуха*; ***актеры***: *конец, стоп-линия*, *дребезжалка, избавление от страданий, свобода*, *тревога*.

«Класс»:

учителя: *помещение* (2 номинации), *комната*, *хранилище знаний, материал*, *бардак*; ***юристы***: *комната* (2 номинации), *помещение*, *аудитория* (2 номинации), *светило*; ***актеры***: *помещение, комната*, *мастерская* (2 номинации), *много места*, *кладовая школьной жизни*.

«Учительская»:

учителя: *переговорочный пункт*, *обмен впечатлениями*, *совещательская*, *начальство*, *мозгопромывание*, *столпотворение*; ***юристы***: *преподавательская* (2 номинации), *комната учителей*, *главная комната, комната ума*, *Лысая гора*; ***актеры***: *кабинет*, *гадюшник, змеевник, серпентарий, мастерская ведьм, запретное место*.

«Учебник»:

учителя: *книга*, *задачник*, *инструкция, помощник* (2 номинации), *литгруз*; ***юристы***: *книга* (2 номинации), *книга знаний, шпаргалка, умная книга, познавальник*; ***актеры***: *книга* (2 номинации), *подсобка*, *знание, библия для школьников*, *книга черной магии*.

«Классный журнал»:

учителя: *книга для оценок, содержание оценок, учет знаний, отметник*, *общий дневник*, *фиктивная регистрация знаний*; ***юристы***: *книга учета, книга учета знаний, отчет, проверка, отметник*, *запись*; ***актеры***: *альбом*, *документ*, *таблица XL*, *несправедливость, улики для уничтожения*.

«Оценка»:

учителя: *отметка*, *уровень знаний, индикатор, цифровой материал*, *справедливка*; ***юристы***: *отметка, балл* (2 номинации), *балл знаний*, *результат*, *похвала*; ***актеры***: *результат*, *цифра*, *двойная несправедливость, окончательный приговор, ощущение препода, конец*!

«Экзамен»:

учителя: *проверка знаний, выявление знаний, проверка, выявление, знаниепоказалка, мозговстряска*; ***юристы***: *выявление знаний, сдача*, *испытание* (2 номинации), *нервотрепка*, *трудность*; ***актеры***: *проверка*, *пытка, смерть, смерть пришла, начало конца, инквизиция*.

«Учитель»:

учителя: *профессия*, *управляющий, наставник, дирижер в оркестре*, *призвание*, *я*; ***юристы***: *преподаватель* (4 номинации), *друг, глава*; ***актер***: *мастер*, *наставник*, *друг*, *мучитель* (2 номинации), *палач*.

3. Номинации, связанные с профессией актера

«Здание театра»:

актеры: *храм, Олимп, родина, юожественное место, обиталище муз*, *шапито*; ***юристы***: *дом игры*, *сцена, храм* (3 номинации), *что-то возвышенное*; ***учителя***: *балаган*, *красота, храм, храм искусства, место для отдыха души, колыбель искусства*.

«Спектакль»:

актеры: *представление, процесс*, *наслаждение, жизнь, клёвакль*, *оргазм*; ***юристы***: *представление, пьеса, действие, зреналище, шоу*, *выступление*; ***учителя***: *представление, игра людей, зрелище* (2 номинации), *маскарад, показ*.

«Сценарий»:

актеры: *бумага, работа*, *проект, проект по созданию, читальник*, *бумагопачкатель*; ***юристы***: *книга, текст* (2 номинации), *шаблон, план спектакля*; ***учителя***: *инструкция, распорядок*, *текст*, *умозаключения, последовательность реплик*, *лишкнига*.

«Режиссер»:

актеры: *наставник*, *творец, вершитель*, *скотина, мучитель, первый псих*; ***юристы***: *постановщик* (3 номинации), *руководитель, глава, главный человек*; ***учителя***: *постановщик, кукловод*, *руководитель зрелища, самый главный*.

«Сцена»:

актеры: *место действия* (2 номинации), *чистый лист*, *рай, место наслаждения, любимое место*; ***юристы***: *место действия* (3 номинации), *подмостки*, *подиум, выставочная площадка*; ***учителя***: *место проведения спектакля, арена* (2 номинации), *свет, Олимп* (2 номинации).

«Роль»:

актеры: *жизнь, счастливый билет, манна небесная, наслаждение, мечта, дар божий*; ***юристы***: *игра, игра актера,*

слова актера, *жизнь, жизнь на сцене*; ***учителя***: *игра* (2 номинации), *игра актера*, *маска* (2 номинации), *кредо*.

«Зрители»:

актеры: *смотрящие, смотрители*, *неандертальцы, вылупившиеся, подглядывающие, подглядывающие в щелку*; ***юристы***: *публика*, *наблюдатели, смотрящие, любители театра*, *народ, толпа*; ***учителя***: *люди*, *наблюдатель* (2 номинации), *смотрители*, *благодарители*, *приобщившиеся*.

«Занавес»:

актеры: *ограждение, преграда, конец игры*, *стена, штора, ширма*; ***юристы***: *шторы* (3 номинации), *преграда, окончание, черта*; ***учителя***: *конец действия, конец спектакля, закрывалка*, *шторы, темная шторка, кулисы*.

«Аплодисменты»:

актеры: *плескание*, *титры, счастье, благодарность* (2 номинации), *успех*; ***юристы***: *выражение эмоций, гул*, *знак качества, шквал, овации* (2 номинации); ***учителя***: *хлопанье, хлопотушки*, *отбей ладошки*, *удача, спасибо!, благодарность*.

«Актер»:

актеры: *рабочий, трудяга, раб, шут, хамелеон*, *просто псих*; ***юристы***: *артист*, *человек*, *играющий человек, игрок, герой*; ***учителя***: *ролевой герой, труженик, герой*, *шоумен*, *центр арены, пугатель*.

В ходе эксперимента было выявлено, что все три группы субъектов, выделенных по характеру профессии, для обозначения объектов используют различные типы номинаций: характеризуют объект по функции, через родовые или смежные видовые понятия, а также оценивают объект позитивно либо негативно.

Представители разных профессий выбирают различные типы номинации для одних и тех же объектов.

Так, реалии юридической сферы учителя номинируют, прибегая прежде всего к отобъектной (т.е. основанной на реальных свойствах объекта) номинации (34), при этом преобладают номинации по функции (18), также используют характеристику через смежные понятия, синонимы, в единичных случаях используют характеристику по внешнему виду, толкование слова. Отсубъектную (отражающую оценки

субъекта) номинацию в отношении юристов учителя применяют реже (20), при этом преобладает негативная оценка (12).

Заметно отличаются аналогичные номинации актеров. По сравнению с номинациями учителей в этой группе в два раза больше отсубъектных номинаций (40), среди которых половина негативных оценок (20). При отобъектной номинации актеры прибегают к замене названий объектов синонимами, к толкованию понятий, характеристике по функции, через видовые понятия.

Номинации юристов преимущественно реализуют отобъектную номинацию, предпочтение отдается характеристике по функции, объективной характеристике, характеристике через родовые понятия, замене синонимами.

При номинации «школьных» реалий юристы по прежнему тяготеют к отобъектной номинации (41, используя характеристику по функции, замену слов синонимами, характеристику через родовые понятия.

Номинации актеров в этой сфере поделены поровну с точки зрения отсубъектной и отобъектной номинаций. В отсубъектной номинации вновь заметно преобладает негативная оценка (25).

Номинируя «свои» объекты, учителя в большей степени используют отобъектную номинацию (47), доминируют характеристики по функции (26). Негативная оценка в отсубъектной номинации с небольшим отрывом преобладает.

Номинации реалий артистической сферы у юристов стремятся к отобъектной номинации (46) с преобладанием тех же характеристик. Отсубъектные номинации (12) выражают только позитивную оценку.

Отсубъектные номинации учителей в отношении этой сферы также позитивно окрашены (14 против 2). Среди отобъектных номинаций (44) половина отведена общей характеристике объекта.

В отношении реалий своей профессии актеры вновь прибегают в большей мере к отсубъектной номинации, впервые в номинациях актеров преобладает позитивная оценка (25). Использование отобъектных номинаций в основном связано с характеристикой функциональной стороны объекта.

Таким образом, можно говорить, что актерам более свойственно применять эмоционально-оценочные номинации, причем позитивные оценки направлены на понятия, связанные с

собственной профессией, а на другие объекты большей частью направлены негативные оценки. Именно у данной группы в номинациях встречаются слова и выражения, принадлежащие ненормативной лексике, восклицания (*отлично*!, *конец*!), номинации – служебные слова (*за* – адвокат, *против* – прокурор).

Субъекты, связанные с юридической деятельностью, явно предпочитают объективные характеристики при номинации. В основном для них важен функциональный план объекта. Также они склонны использовать языковые штампы (*храм науки, храм знаний* – школа). Заметна склонность юристов к наиболее точному толкованию значения слова. Отсюда частые повторения номинаций одного и того же объекта внутри группы. Так, адвокат назван защитником всеми шестью опрошенными.

В группе учителей чаще других встречаются затруднения с ответами в процессе номинации. Своя профессия и понятия, с ней связанные, характеризуются объективно. Актеры, как уже было сказано, чаще прибегают в негативной оценке объектов школьной жизни. Юристы используют преимущественно объективную номинацию.

В большей степени учителя и актеры склонны к словотворчеству, создают неологизмы в процессе номинации (*хлопотушки* – аплодисменты, *учёха* – школа, *клёвакль* – спектакль и др.).

Полученные номинации подтверждают предположение о том, что характер деятельности, профессия человека тесно связаны с номинативным поведением личности.

© Рут М.Э., 2007
© Гарипова К.С., 2007

В.В.Химик
Санкт-Петербург

Павел Александрович Лекант как лингвокультурологический дискурс

Павел Александрович Лекант – давно уже не просто имя отдельного человека, а лингвокультурный феномен, обширное дискурсивное поле, которое требует специального многоаспектного изучения. Рассмотрим этот феномен в фонетическом, ассоциативно-фонетическом, номинативно-когнитивном, деривационном и синтактико-коммуникативном аспектах.

Фонетический аспект имени *Павел Александрович Лекант*. Этот аспект особенно актуален, когда с именем встречаются впервые и ничего о референте не знают. Хотя Павла Александровича давно знает «и гордый внук славян, и финн, и *прежде* дикий тунгус, и друг степей калмык…». Но 35 лет тому назад я впервые услышал о Леканте. Эту фамилию произнес один мой коллега: он приехал после аспирантуры из Москвы и заинтриговал меня словами: «Вам надо ехать в Москву к Леканту, вы подходите друг другу». Не знаю, подходил я Леканту, но это прозвучало для меня как музыка: *Лекант…* И поскольку денотат этой удивительной номинации мне был неведом, я с наслаждением стал думать о форме: *Ле-кант.* Какой интересный звуковой комплекс!

Потом я узнал имя и отчество, и, не имея никакой реферативной опоры, но мечтая об аспирантском будущем, стал анализировать всю номинацию целиком: *Павел Александрович Лекант...* Звучит гармонично.

В самом деле, думал я, первый элемент номинации – *Павел*. Фонетическое слово очень скромно начинается с глухого губно-губного смычного согласного [*п*], а далее следует открытый ударный гласный [*а*] – *Па…* за которым оказывается

палатализованный губно-зубной [*в'*], а затем сильно редуцированный гласный [э], похожий на [*и*], и, наконец, очень русский и очень твердый сонорный [*л*]: [*павел*]. Красиво звучит, но мало того, звукосочетание [*павел*] совершенно замечательно согласуется с отчеством *Александрович!* Судите сами – *Александрович*: снова открытый гласный [*а*] и за ним уже знакомый нам сонорный [*л'*], но теперь мягкий. Это как в музыке – повтор ведущей темы, но с вариацией и метатезой: словно легкое эхо [*павел але-е-е…*]. Но тут вдруг возникает твердое звукосочетание [*кса*]: соединение взрывного заднеязычного и свистящего переднеязычного щелевого, которое поддерживается открытым ударным [*а*]: [*Алекса…*]! Запомним этот неслучайный повтор гласных нижнего подъёма. А дальше еще интереснее: в сочетании с носовым сонорным и звонким переднеязычным появляется твердый и совершенно бескомпромиссный вибрант – [*ндрррр*], который окончательно уравновешивает убаюкивающую мягкость предшествующего слога и имени!

Это потом уже я узнал, что *Павел Александрович Лекант* мягкий-то мягкий, но когда необходимо может быть жестким и суровым. Правда, отходчивым. Вот и здесь, в отчестве, рокочущий вибрант быстро сменяется сочетанием сильно редуцированного гласного, мягкого губно-зубного [*в'*], а потом и тихого закрытого [*и*] с едва слышной аффрикатой [*ч*]: *Александрович…*

А вслед за именем и отчеством возникает уже знакомое нам звукосочетание – *Лекант.* И что поразительно – здесь мы снова встречаем мягкий переднеязычный сонорный [*л'*], а с ним тоже уже звучавший полузакрытый, но теперь ударный гласный [э], и все это завершается очень определенным слоговым сочетанием -*кант*, в котором встречается всё та же фонема *а* в заударной позиции и в составе с чёткой смычной финали: -*кант*.

Ко всему сказанному следует добавить и замечательную ритмику номинации: двусложное, т. е. достаточно краткое имя *Па-вел* очень удачно сменяется продолжительным пятислоговым отчеством *Александрович*, а оно, в свою очередь, снова двуслоговой фамилией – *Ле-кант.* Очень устойчивая, симметричная композиция!

Итак, вся рассматриваемая нами номинация, весь звуковой комплекс, как видим, оказывается необыкновенно гармоничным: *Павел Александрович Лекант* – идеально организованная музыкальная фразема с повторяющимся широким гласным [*а*], со сквозным тематическим сонорным [*л-л'*], а также гласным [э] в самых разных музыкально-звуковых позициях: предударных, ударных и заударных, а также с мерным чередованием губных и язычных, смычных и фрикативных. Красивая фразема, стройная слоговая композиция, достойный денотат!

Ассоциативно-фонетический аспект. Имя *Павел Александрович Лекант* – ассоциируется у нас, конечно, только с известной и замечательной личностью. Но если отстраниться от привычного, то и в ассоциативном плане мы увидим немало интересного.

Павел – хорошее русское имя. По латинским первоисточникам «малый». Но это как раз тот случай, когда этимология решительно расходится с впечатлениями. Отнюдь не малый и не кроткий. В звучании имени *Павел* есть хорошая основательность и печать традиции. Вспоминаются апостолы Пётр и Павел, Иоанн Павел в Ватикане, замечательный писатель Павел Бажов.

Александрович – одно из самых благозвучных отчеств: Павел сын Александра, Александров сын. Явно, родители Юбиляра и родители родителей Юбиляра демонстрировали хороший языковой вкус, выбирая имена своим чадам.

Лекант. Тот, кто встречает эту номинацию впервые и в письменной форме, обязательно произносит *Лека́нт*. Но тогда возникает иной образ, совершенно чуждый нашему денотату: какой-то французский, легкомысленный, легковесный. Иное дело *Ле́кант*. Две части этого загадочного звукосочетания как бы соревнуются, дополняя и уравновешивая одна другую. Вторая часть, *-кант*, вызывает серьезные философские ассоциации: *-кант* – это твердость и непреклонность, метафизика духа, пролегомены и т.п. И как бы отталкиваясь от этой ассоциации, от ненужного сопоставления, в нашей номинации появляется смягчающее *Ле-* (*левый, лелеющий, летающий, лечащий*): да твердость, да научная непреклонность,

но это уже иное звучание, совершенно самостоятельное и независимое, но гораздо более жизненное, чем просто *кант*, жизнеутверждающее и человечное: *Ле-кант*!

Номинативный и когнитивный аспекты феномена имени *Павел Александрович Лекант*. Имя *Павел*, несмотря на его латинское происхождение и на многочисленные международные интерпретации (*Пауль, Поль, Пол, Пабло, Паоло* и т.п.) – это, несомненно, русское имя. Имя Павел, как и каждое традиционное русское имя, имеет большое число субъективно-оценочных преобразований: *Павлик, Павлуша, Павлушка, Павлуха, Паша, Пашка, Пашенька, Пашуха, Пашутка, Паня, Панечка…* всего, по моим подсчетам, более 50 модификаций, среди которых есть краткие, ласкательные, уменьшительные, фамильярные, народно-разговорные, поэтические и т.д. Наверное, Павел Александрович слышал многие из таких номинаций в свой адрес от близких…

Было время, году, эдак, в 1975, когда аспиранты, конечно, за глаза, называли иногда Павла Александровича *Пашей*: «А ты спроси у Паши», «Паша уже читал твою главу?», «Паша не любит, когда выпендриваются» и т. п. Очень показательная модификация: она означала, с одной стороны, молодость носителя, а с другой – скрытую дружескую фамильярность, неформальное отражение добрых отношений учителя и учеников.

Об отчестве Юбиляра мы уже говорили достаточно, номинативные его свойства очевидны, поэтому обратимся еще раз к фамилии *Лекант*, поскольку она обладает особым когнитивным потенциалом.

Сразу возникает необходимость проверить французские источники. Большой соблазн соотнести этот оним с галльским Leconte (распространенная во Франции фамилия), буквально – ‘сказка, волшебная история’! Красиво, но там же во Франции распространена и другая фамилия Lecante – *Лека́нт.* А это уже не столько галльский образ, сколько норманнский (возможно, из немецкого): *cant* или *сан* – ‘край, кромка, предел’. Это существительное мужского рода, поэтому употребляется с определенным артиклем Le – Le cant ⇒ Lecante ⇒ Лекант. Вполне распространенный во Франции способ образования

непатронимических фамилий. Прочтем это имя как когнитивное выражение ясности: «четкий предел, определенность». Такова реальная этимология, и она очень хорошо подходит нашему уважаемому референту.

Сам Павел Александрович, как я знаю, предпочитает видеть в своей фамилии белорусское происхождение. Но основание для этого не столько этимологическое и когнитивное, сколько историко-культурное. Действительно, в западных губерниях старой России проживало несколько Лекантов. Фамилия Лекант встречается в Памятной книге Минской губернии 1909 г. Там же в Минской области был известен Иван Людвигович Лекант, 1855 г.р., который затем переехал в г. Симбирск, был там начальником почтового отделения, а в 1920 г., был осужден за, якобы, «антисоветскую деятельность». Фамилия Лекант внесена и в памятную книгу Виленской губернии, 1915 г. В этих краях в конце XIX – начале XX века была очень известна Алена Сакалова-Лекант – популярный белорусский *настаўник*, т.е. учитель, педагог. Возможно, всё это потомки отступавшего наполеоновского войска, которые по разным причинам задержались в России и оставили свой особенный след именно в западных губерниях, возможно, кто-то из них и был прапрародителем нашего П.А. Леканта.

Кстати, в поисковых сайтах русского Интернета, в Yandex'е и Google, содержится, по данным середины ноября 2007 г., более 22 000 упоминаний фамилии Лекант в 1200 сайтах. Это Леканты из Омска, очевидно, родственники П.А Леканта, – провизоры, бизнесмены, дистрибьютеры. Это сын Павла Александровича и весьма интересная личность журналист Андрей Павлович Лекант. Кроме того, в Интернете упоминается известный французский киноактер Жан-Клод Лекант (Jean-Claude Lecante) и некоторые другие, менее известные Леканты. Но подавляющее большинство упоминаний Интернета – не менее 21 тысячи! – посвящены Павлу Александровичу Леканту как автору известных монографий, многочисленных вузовских и школьных учебников, справочников и проч. и проч.

Деривационный аспект. Уникальная номинация вместе с замечательным номинантом – *Лекантом,* является продуктивной производящей базой для обширного гнезда новых

русских образований. После 75-летнего Юбилея нашего номинанта каждый последующий год должен быть признан юбилейным годом нескончаемой *лекантианы*. Собственно юбилейные события нельзя называть иначе, чем *лекантиада* – вселингвистический народный праздник всех истинных *лекантолюбов*, *лекантофилов*, *лекантоведов*, *лекантоманов* и *лекантистов*.

Кто они такие?

Лекантолюбы – простые граждане, познакомившиеся с П.А. Лекантом; *лекантофилы* – обычные нормальные лингвисты; *лекантоведы* – те, кто знает Леканта или думает, что знает его; *лекантоманы* – лингвисты с повышенным чувством *лекантофилии*, а *лекантисты* – это *лекантофилы* с легким налётом фанатизма. Но как измерить степень *лекантопричастности*? Только точными методами. Базовая единица – 1 *лекантон*. Впрочем, персон с эмотивным зарядом в 1 *лекантон* встретить трудно. Обычно, это *лекантофилы* или *лекантоманы* ёмкостью в 3-4 *лекантона* (кандидаты наук) или 5-6 *лекантонов* (доктора наук). Что же касается упомянутых *лекантистов*, то их емкость доходит до 7 и даже 8 *лекантонов*.

Все личные номинации, образованные от производящего исходного имени *Лекант*, связаны гнездовыми отношениями и с группой акциональных слов. Например: *лекантоветь* – становиться причастным к Леканту (учиться у него, быть аспирантом или докторантом Леканта либо просто попадать в обаяние текстов и мыслей П.А. Леканта). *Лекантовать* – цитировать П.А. Леканта, т.е. «кантовать» его идеи в собственные тексты, а затем, при желании, публично *лекантиться*, т.е. бахвалиться причастностью к Леканту.

Причастность нередко переходит в стойкую атрибутивность, так формируется ряд неологических атрибутивов: относительное или притяжательное прилагательное *лекантский*, качественное прилагательное *лекантый*; относительное прилагательное, перешедшее в качественное, *ле́кантовый* (*ле́кантовая диссертация, ле́кантовый аспирант, ле́кантовое образование*). В живой народной речи встречается и разговорный вариант этого адъектива: *лекантóвый*, нисколько, впрочем, не снижающий эмотивную ёмкость именуемого

признака. Разумеется, деривационное поле *Лекант* является открытым, словообразовательное гнездо расширяющимся, а наблюдение за дальнейшей деривацией – настоятельной задачей современной лингвистической науки: *введения в лекантоведение, научной лекантологии, сравнительной лекантистики* и популярного *лекантознания.*

Синтактико-коммуникативный аспект. *Павел Александрович Лекант* – коммуникативная, диалогическая и необыкновенно отзывчивая личность. Привычно воспринимается как субъект действия, воздействия, влияния и поддержки коммуникативного партнера, как агенс с исключительной синтаксической ориентацией.

Если пойти по пути аналогий, то можно сказать, что среди нас есть люди-лексемы, встречаются среди нас асемантичные фонемы, есть пышные дамы-фраземы, бывают люди – скучные синтаксемы, а существуют еще простые и сложные антропоконструкции и даже бывают весьма любопытные персоны – сверхфразовые единства. Но совершенно особый случай – *Павел Александрович Лекант.* Это многофункциональная, многоаспектная, полисемантическая фигура открытого типа, с очень определенной и ясной базовой пропозицией. Какая фигура, какие формы, какие пропозиции? Ситуативно обусловленные.

Павла Александровича Леканта можно воспринимать, например, как односоставное предложение, именное номинативное, бытийное с пропозицией: «утверждение научного и педагогического бытия». В других конситуативных позициях *Павел Александрович Лекант* – это главный член предложения, притом, кажется, как именного, так и глагольного типа.

Павел Александрович Лекант – типизированный «синтаксический субъект», лицо, неизменно выражающее внимание и уважение к объекту и само вызывающее уважение и почтение со стороны одних актантов, и стимул к изучению и подражанию, со стороны других. Но при этом *Павел Александрович Лекант* – это еще и весьма значительный «предикат», или, если угодно, «сказуемое», при том составное именное с самым широким набором связочных аспирантских,

докторских и прочих компонентов: временных (*был, есть и будет*), фазисных (*начнет, продолжит и всегда закончит!*), модальных (*хочет, может и умеет*). *Павел Александрович Лекант* органичен в простом предложении и в сложных полипредикативных конструкциях, в осложненных полипропозитивных построениях и в сложных синтаксических целых.

Скажу больше: *Павел Александрович Лекант* – это текст. Текст с органичной композицией и впечатляющим многообразием функционально-смысловых вариаций: он замечательно повествует, живо описывает, ясно рассуждает, умело доказывает и увлеченно поёт! И при всем этом личность нашего Юбиляра явно выходит за пределы отдельного текста.

Павел Александрович Лекант на самом деле – гипертекст, т.е. совокупность текстов – собственных, базовых, вроде «Синтаксиса простого предложения» или «Типы и формы сказуемого», производных и прикладных текстов, вроде бесчисленных вузовских и школьных учебников русского языка, а также совокупность необозримого числа, скажем так, вторичных и косвенных текстов, т.е. наших многочисленных диссертаций, статей и монографий, так или иначе связанных с ядерным агентивным субъектом по имени *Павел Александрович Лекант*.

Павел Александрович Лекант – это многожанровое явление национальной русской культуры, это совокупность монологических подсистем в виде лекций, докладов и выступлений, это множество диалогических жанров: семинаров, консультаций, бесед со студентами и аспирантами, общения с учениками и коллегами. И если всё перечисленное составляет <u>экстенсионал</u> гипертекста по имени *Павел Александрович Лекант*, то его ключевой <u>интенсионал</u> – привычная легкая шутка и знаменитая улыбка Павла Александровича.

И еще один принципиальный тезис. *Павел Александрович Лекант* – прецедентная языковая личность, вокруг которой сформировался динамичный дискурс – обширное и развивающееся лингвокультурное поле личностей, текстов, идей, практик, методик и дидактических процессов. Стабильной, хотя и далеко не всегда достижимой моделью,

образцом этого дискурса является его гиперсубъект – *Павел Александрович Лекант*.

Почему модель такого гиперсубъекта труднодостижима? Академическая практика показывает, что существует три основных типа вузовского профессора: профессор пишущий, профессор читающий, профессор пестующий. Каждый из членов парадигматической оппозиции по-своему самодостаточен для академической среды: одни пишут хорошие книги, другие замечательно читают лекции, третьи – успешно руководят аспирантами. *Павел Александрович Лекант* в этом отношении уникален: пишет востребованные книги, успешно читает лекции и совершенно замечательно пестует учеников.

Этим последним заключением я завершаю свой краткий паралингвистический экскурс в удивительное дискурсивное пространство по имени *Павел Александрович Лекант* и выражаю надежду, что мои коллеги, многочисленные *лекантофилы, лекантоведы* и *лекантоманы*, продолжат изучение феноменального дискурса, созданного нашим замечательным Юбиляром, и внесут достойный вклад в становление и развитие современного *лекантознания*.

© Химик В.В., 2007

Д.Р. Шарафутдинов
Екатеринбург

О принципах применения синтетического подхода в грамматиках речевой деятельности

Существующие в настоящее время в русистике замечательные академические грамматики, в общем, представляют собой классификационные описания языковой системы. Объект наших академических грамматик – именно языковая система, а не речевая деятельность (по Л.В. Щербе); подчеркнем: именно абстрактный и пассивный феномен языковой системы, а не конкретный и активный феномен речевой деятельности. Следует констатировать тот факт, что сегодня на фоне существования целой серии столь выдающихся грамматик языковой системы синхронная русистика вообще не располагает грамматиками речевой деятельности как полноценными завершенными системными лингвистическими интерпретациями – ни грамматикой продуктивной речевой деятельности, ни грамматикой рецептивной речевой деятельности.

В отличие от грамматик языковой системы, грамматики речевой деятельности в идеале должны быть не грамматиками классификаций, а грамматиками алгоритмов, не грамматиками

описаний, а грамматиками предписаний, не грамматиками характеристик, а грамматиками инструкций, иными словами, не грамматиками типологизации языковых фактов, а грамматиками планирования речевых действий. По характеру содержательной организации грамматика речевой деятельности – это не сегментированная уровневая грамматика, в которой словообразование, морфология и синтаксис разделены непреодолимыми межуровневыми барьерами и при этом все, вместе взятые, противопоставлены лексике, а грамматика над-уровневая, сверхуровневая, в которой уровневая принадлежность единицы, используемой в качестве средства выполнения речевого действий, не столь существенна и наряду со словообразовательными, морфологическими и синтаксическими средствами рассматриваются лексические и даже фонетические (в частности, просодические) средства. Фактически речь идет о переходе от уровневой классификационно-характеризующей грамматики языковой системы к сверхуровневой алгоритмически-инструктирующей грамматике речевой деятельности. Идеальная цель последней – технологическое (алгоритмическое) лингвистическое обеспечение продуктивной и рецептивной речевой деятельности.

Отсутствие самих продуктивной и рецептивной грамматик как таковых отнюдь не означает отсутствия продуктивно-грамматического и рецептивно-грамматического направлений в русском языкознании. В теоретической русистике существует концепция грамматик речевой деятельности – концепция Л.В. Щербы – И.Г. Милославского (см., в частности [Щерба 1974; Милославский 2002]). Сложилась определенная традиция продуктивно- и рецептивно-грамматических исследований, т.е. исследований, так или иначе ориентированных на разработку соответствующих грамматик. Методологические и теоретические предпосылки для создания грамматик речевой деятельности существуют. Однако существуют и серьезные теоретические и практические проблемы, с которыми сопряжено решение обсуждаемой задачи.

Разработка грамматик речевой деятельности опирается на идею синтеза значений и форм неоднокомпонентных языковых

единиц – таких единиц, к которым в принципе применима эта идея. Точнее, данная идея может быть актуальна только для тех знаковых (двусторонних) языковых единиц, которые обладают свойством делимости на компоненты, в свою очередь, являющиеся также знаковыми (двусторонними) языковыми единицами – единицами, обладающими как формой, так и значением, как планом выражения, так и планом содержания, поскольку грамматики речевой деятельности – это, в определенном смысле, грамматики отношений между формой и семантикой, грамматики переходов от формы к семантике (рецепция) и от семантики к форме (продукция).

Таким образом, и продуктивная, и рецептивная грамматики – это прежде всего грамматики синтеза единиц, соответственно, синтеза продуктивного или рецептивного. Продуктивный (деривационный) синтез представляет собой «сборку» формы производной единицы с заданными семантическими свойствами, рецептивный (семантический) синтез – «сборку» значения заданной единицы из значений составляющих ее двусторонних компонентов.

«Собирать», синтезировать из более дробных двусторонних единиц теоретически возможно следующие единицы: многоморфемное производное слово, словоформу, словосочетание, простое предложение, сложное предложение, текст.

Важнейшие проблемы, возникающие в ходе разработки грамматик речевой деятельности, обусловлены тем, что синтетический подход применим к различным участкам, компонентам языковой системы принципиально неодинаково – не в равной степени. В связи с этим прежде всего необходимо охарактеризовать компоненты языка в данном аспекте: следует выделить участки, фрагменты языковой материи, по отношению к которым обсуждаемый подход применим в большей степени – в меньшей степени, более оправдан – менее оправдан, более эффективен – менее эффективен, может быть, совсем неэффективен или даже вообще неприменим.

Степень эффективности, «рентабельности» применения синтетического подхода к тому или иному компоненту языковой системы определяется уровнем регулярности

отношений между единицами в составе данного компонента, уровнем обязательности образования данных единиц. Уровень регулярности отношений единиц обусловливает характер возможностей формализации и моделирования этих отношений, степень эффективности алгоритмизации речевой деятельности, связанной с образованием соответствующих единиц. Чем выше регулярность отношений между единицами, тем в большей степень обоснованно, эффективно применение синтетического подхода; чем ниже регулярность отношений единиц, тем применение обсуждаемого подхода менее эффективно.

В связи с этим русская морфология и русское словообразование представляют собой принципиально разные сферы применения синтетического подхода. В современном русском языке морфологические парадигмы, будучи парадигмами формальными, характеризуются высокой регулярностью: как правило – на фоне относительно немногочисленных случаев лакунарности – образование морфологических форм слова носит высокорегулярный характер. Русские словообразовательные парадигмы, содержательные по своей природе, гораздо менее регулярны. Словообразовательная парадигма базируется на семантическом основании: в ее основе – семантические различия между производящими и производными единицами. Семантика же в принципе малорегулярна; формализация семантических феноменов может быть сопряжена со значительными трудностями. Поэтому словообразовательные парадигмы несопоставимо индивидуальнее, «причудливее» парадигм морфологических, типовых. По этим причинам алгоритмы продуктивного и рецептивного синтеза на уровне словообразования неизбежно будут перегружены «фильтрами» – многочисленными списками несинтезируемых или нестандартно синтезируемых лексических единиц и их значений.

В соответствии с этим синтетический подход высокоэффективен, «высокорентабелен» в первую очередь применительно к русской морфологии. Именно морфологический синтез широко используется в практике

преподавания иноговорящим учащимся языков с развитыми флективными морфологиями, в том числе русского языка.

Гораздо сложнее обстоит дело с русским словообразованием, которое в рассматриваемом аспекте чрезвычайно неоднородно. К сфере синтаксической деривации синтетический подход применим вполне эффективно: синтаксические дериваты (*изучение, белизна, интересно*), как правило, не воспроизводятся целиком, а синтезируются в результате соединения воспроизводимых производящей основы и аффикса-дериватора. В современном русском языке регулярность образования синтаксических дериватов в целом достаточно высока, а регулярность образования отглагольных синтаксических дериватов очень высока. «…По-видимому, появление синтаксических дериватов можно предсказать в современных развитых языках с большей уверенностью, чем существование каких-либо пластов лексических дериватов» [Кубрякова 1978: 79]. Что касается лексической деривации, то и в этой весьма разнообразной сфере словообразования, как известно, имеются словообразовательные типы более регулярные и менее регулярные, более продуктивные и менее продуктивные. Сообразно специфике устройства того или иного фрагмента области лексической деривации, с учетом принципа «рентабельности» применения синтетического подхода к данному компоненту системы грамматика речевой деятельности должна предлагать продуценту/реципиенту речи либо алгоритмы синтеза, либо списки искомых единиц.

Литература

Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещение. – М., 1978.

Милославский И.Г. Культура речи и русская грамматика. – М., 2002.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

© Шарафутдинов Д.Р., 2007

Н.А.Юдина
Екатеринбург

Понятие метафоры как ассоциативного процесса

Современная теория метафоры далеко ушла от понимания метафоры как переноса признака с одного предмета на другой. На сегодняшний день активно развивается когнитивная теория метафоры, провозгласившая метафору основной ментальной операцией, способом постижения, структурирования и категоризации мира.

Термин «ассоциативно-когнитивный подход» впервые появляется в монографии О. Н. Лагуты (Лагута 2003: 102). Как следует из названия подхода, в его рамках изучается проблема соотношения языка и мышления и проблема метафоры как связующего звена между двумя этими уровнями. В этом контексте необходимо обратиться к понятию психологического

субъекта и психологического предиката, апперцептивного процесса и ассоциативного значения слова

Восприятие новой информации происходит при наложении психологического предиката на психологический субъект. Подобные идеи встречаются уже в античной философии. Аристотель выделял в суждении субъект – то, о чём говорится, и предикат – то, что говорится (Лузина 1996: 10). На современном этапе развития психолингвистики исследователи выделяют внешнюю и внутреннюю речь, отмечая предикативность последней (Выготский 1996: 239; Лурия 1998: 177).

Психологический предикат, в противоположность психологическому субъекту, есть новое в предложении. Исходя из гносеологической функции метафоры, можно с уверенностью заявить, что психологическим предикатом является метафорическое значение слова. Данное положение развивает в своей работе Н. Д. Арутюнова. По её мнению, метафора «ориентирована преимущественно на позицию предиката» (Арутюнова 1999: 370).

При наложении *психологического предиката* на *психологический субъект* в действие вступают законы *апперцепции*. Сущность апперцепции заключается в том, что поступающая извне новая информация вступает во взаимодействие с уже имеющимися в сознании представлениями и находит среди них своё место, встраиваясь в наличествующую у каждого конкретного индивидуума систему представлений. Говоря словами А. А. Потебни, апперцепция «есть участие известных масс представлений в образовании новых мыслей <…> результатом взаимодействия двух стихий апперцепции является нечто новое, несходное ни с одною из них» (Потебня 1999: 103). Взаимодействие психологического субъекта с психологическим предикатом на основе закона апперцепции учёный определяет следующим образом: «Новое апперцепируемое восприятие будет субъектом, а представление, которое одно только выражается словом, будет заменою действительного предиката» (там же: 127). «Средством апперцепции», по мнению А. А. Потебни, являются также общие черты предметов, на основе которых образуются

ассоциации. Особенность же ассоциации заключается в том, что разнородные восприятия, «данные одновременно или одно вслед за другим», взаимно провоцируют своё возникновение в сознании, при чём они «не уничтожают взаимно своей самостоятельности» (там же: 114-115), оставаясь при этом обособленными друг от друга и давая возможность при необходимости разделить процесс апперцепции на стимул и реакцию.

Итак, психологический субъект вступает во взаимодействие с психологическим предикатом по законам ассоциации и апперцепции, образуя при этом так называемые «сети связей», которыми обладает каждая лексическая единица (Лурия 2002: 95). Данные сети связей получили по своему происхождению название «ассоциативных»: «Обычный способ связать куски информации – ассоциации, когда, вспомнив одно, мы вспоминаем и нечто связанное с ним. Одна из величин, объединяющих ассоциативные отношения, может легко служить в качестве „пускового механизма“ для вызволения из памяти другой. Это и даёт основание предполагать, что таким же образом организована и память: по принципу стратификации разных ассоциативных сеток связей и их иерархии» (Кубрякова 1994: 99-100; Слобин 1976: 142).

Взаимодействие ассоциативных сетей порождает *ассоциативное значение слова* – значение, «представленное набором слов-реакций на данное слово-стимул» (Слобин 1976: 142). «Наряду с прямым „референтным“ или „денотативным“ значением слова существует ещё и обширная сфера того, что принято называть „ассоциативным“ значением <…> таким образом слово становится центральным узлом для целой сети вызываемых им образов и „коннотативно“ связанных с ним слов» (Лурия 1998: 43-44).

Итак, психологический предикат апперцепируется на психологический субъект, ассоциируясь с ним. Однако этот процесс является невербальным. Оставаясь только в рамках психологических процессов, невозможно ответить на вопрос о том, каким образом новая переработанная информация находит своё отражение в языке. На данный вопрос отвечает метафора. Метафора, будучи признанной основной ментальной операцией,

является одновременно и достоянием языка и может считаться связующим звеном между языком и мышлением.

Проблема соотношения языка и мышления является актуальной на протяжение всей истории развития науки. Вопросу о том, что первично, мысль или слово, посвящены десятки теоретических и практических исследований. Л. Витгенштейн, В. Вундт, В. Гумбольдт, А. А. Потебня, А. Н. Леонтьев**, А**. Р. Лурия и многие другие исследователи приходят к тому выводу, что, хотя и существует также множество исследований, подтверждающих наличие «языка» у животных, язык человека, призванный обозначать предметы, признаки, действия или состояния в отрыве от конкретного практического действия, свидетельствует о высшей степени абстракции человеческого мышления, а, соответственно, о его высоком развитии. Познавая мир и самого себя, человек испытывал потребность давать имена не только предметам и действиям, но также и собственным состояниям и душевным процессам. Развитие человеческого мышления и языка шло параллельно, одно не может существовать без другого, и наличие как языка, так и абстрактного мышления отличает человека от животного. Итак, мышление и познание осуществляются в языке. Следующим становится вопрос о том, каким образом мышление человека эволюционирует в языке от одного понятия к другому.

Проблема познания мира встаёт перед человеком тогда, когда он сталкивается с необходимостью получить информацию о неизвестном и направляет свои усилия на то, чтобы это неизвестное устранить, превратив в известное. Таким образом, запускается процесс познания. Знанием же является не реальный предмет, но понятие о реальном предмете. Если предмет, подлежащий познанию, незнаком, то нет и понятия, обозначающего его. В этом случае человеческое мышление идёт по пути аналогии, пытаясь объяснить незнакомое в терминах знакомого, методом переноса признаков с одного предмета на другой. Этот механизм познания окружающего мира полностью повторяет механизм возникновения метафоры.

Следующим аспектом проблемы взаимоотношения языка и мышления является формирование картины мира посредством языка. Важно изучать не только сам язык, но и условия его

использования говорящими. Мы расчленяем, классифицируем и структурируем наблюдаемые явления, как того требует лексика и грамматика нашего языка. Разные языки формируют разные картины мира. Китаец не только говорит по-другому, но и мыслит не так, как англичанин. Различия между языками наиболее заметно проявляются в наличии лакун. Лакуны обусловлены различиями между культурами – это либо отсутствие в одной культуре реалий другой, либо то, что в одной культуре приходится различать нечто, что в другой неразличимо. Таким образом, в разных культурах на первый план выходят разные признаки определяемого объекта. Лакофф и Джонсон в работе «Метафоры, которыми мы живём» на наглядных примерах демонстрируют, как в разных культурах одно и то же понятие, выраженное разными метафорами, предстаёт совершенно в ином свете. Некоторые признаки обозначаемого предмета выходят на первый план, другие затемняются. Безусловно, язык и менталитет формировались одновременно, но сейчас ребёнок, рождаясь в той или иной культуре, учит родной язык как данность, и даже не задумывается о том, что мыслит и говорит метафорами. Метафоры так прочно сидят в нашем повседневном языке, что мы не замечаем их, а они тем временем создают стереотипы и замещают реальность, сами реальностью не являясь (Лакофф, Джонсон 2004).

Анализируя, каким образом отбирался языковой материал для создания метафоры, мы можем получить представление о механизме формирования менталитета. Используемые языковые модели – это результат предшествующей практики языка и культуры, в которой запечатлелся исторический опыт. Для создания метафоры и её декодирования человек пользуется системой общепринятых в данной культуре ценностей, общепринятых ассоциаций: «в выборе метафорических выражений проявляются <…> различия индивидуальных интересов, а из совокупности метафор, ставших в языке узуальными, можно увидеть, какие интересы преобладали в народе» (Пауль 1060: 114-115). Сгласно современным исследованиям А. Л. Басилая, метафора «построена на сильных ассоциациях, упорядоченно вызывающих сходные

представления у разных носителей данного языка, воспроизводящих одну и ту же метафору» (Басилая 1971: 9).

Итак, метафора даёт в одном из аспектов ответ на вопрос о соотношении языка и мышления. Метафора демонстрирует единство «общей мысли, понятия и образа» (Рубинштейн 2000: 335). Мышление и познание человеком окружающего мира происходит в метафорах. Следующим важным вопросом становится вопрос о механизме создания метафоры. С того момента, как метафора была признана основной ментальной операцией, потребовался кардинально новый подход в объяснении механизма создания метафоры. Таким объяснением стали ассоциативный и когнитивный процессы, происходящие в сознании человека, а новым подходом, удовлетворяющим уровню исследования метафоры на современном этапе, стал ассоциативно-когнитивный подход.

В своей статье «Когнитивная теория метафоры», американский исследователь Эрл Маккормак даёт следующие описания механизма создания метафоры, который является уменьшенной моделью механизма мышления вообще. Автор статьи предлагает представить себе человеческий мозг в качестве компьютерного механизма, анализирующего информацию, а различные знания, существующие в нём, уподобить схеме молекулы в n-мерном пространстве, где узлом сетки является не атом, а слово[5]. Слова связаны между собой, как атомы в молекуле, ассоциациями, то есть спонтанными ментальными связываниями двух явлений (Маккормак 1990).

Именно этой особенностью человеческого мышления объясняется формулировка термина «ассоциативно-когнитивный подход». Когнитивистика – это наука о познании как процессе, а процесс познания базируется именно на ассоциациях. Механизм создания ассоциаций полностью повторяет механизм создания метафоры.

Механизм создания метафоры необходимо прежде всего рассматривать с точки зрения психологических процессов. Если подходить к метафоре с точки зрения высшей нервной

---

[5] см. также: Торонго, Штернберг.

деятельности, то необходимо вспомнить, что левое полушарие головного мозга выстраивает логическую, а правое – образную картину мира. Правое полушарие обрабатывает информацию в одновременной целостной манере, оно управляется с пространственными, структурными, кинестетическими, гештальтными изображениями. Оно отвечает за интуицию, невербальную информацию, символы, образы. Таким образом, метафору можно рассматривать как произведение правого полушария.

В этом контексте известен девиалогический подход к метафоре, то есть подход как к семантической аномалии. Логический субъект присовокупляет к себе ранее несоединимые с ним предикаты. Таким образом, метафору можно рассматривать как намеренную категориальную ошибку, то есть «представление одной категории в терминах другой» (Рикёр 1990: 441). То же у Арутюновой: «источник метафоры – сознательная ошибка в таксономии объектов» (Арутюнова 1990: 17-18). Если рассматривать язык как логическую систему, то нарушение логики неизбежно ведёт к возникновению чувственных представлений, а метафора, по одному из мнений, даёт именно представление, а не знание о предмете. Правильное употребление языкового материала помогает решению определённых коммуникативных задач. Грамотно построенная девиация даёт в результате эффективную метафору и решает задачу дать слушателю наглядное представление о предмете.

Итак, метафора является психологическим образованием. Однако, как было рассмотрено выше, понятия в нашем сознании связаны между собой ассоциациями. Таким образом, необходимой становится конкретизация метафоры как ассоциативного процесса.

Часть ассоциаций в человеческом сознании является врождённой, передаётся по наследству вместе с культурным опытом предшествующих поколений, а часть приобретается в течение жизни в ходе освоения окружающего мира, духовной и интеллектуальной работы. Часть ассоциаций в нашем сознании уже существует, но их фонд обновляется и пополняется ежечасно в процессе познания окружающего мира. Происходит это именно методом создания метафор. Как коротко и ясно

резюмирует О. Н. Лагута, «в основе метафоризации лежат ассоциации» (Лагута 2003: 102).

Г. Н. Скляревская в своей работе показывает разницу между языковой и художественной метафорой. Языковая метафоры шире художественной, которая служит для украшения. Языковая метафора, по мнению исследователя, «стихийна, заложена в самой природе языка, автоматически производится и воспроизводится в потоке речи» (Скляревская 1993: 31). Скляревская выделяет несколько типов языковых метафор, а именно: мотивированная (в этом случае есть семный элемент, связывающий метафорическое значение с исходным), синкретическая (образуется в результате смешения чувственных восприятий, например, видим вкус или слышим цвет) и ассоциативная (которая базируется на способности сознания отыскивать аналогии между любыми объектами действительности). И языковая, и художественная метафора образуется согласно «логике воображения, источник её непредсказуем, базируется на ассоциациях, формирующих семантическое переосмысление» (Скляревская 1993: 26-27).

Ассоциативную природу метафоры признаёт представитель ассоциативной психологии. А. Бэн, который трактует метафору как «совместное действие законов ассоциации и перемещения внимания», в результате чего «слово с первоначального обозначавшегося им предмета переносится на другой, похожий на него в каком-нибудь отношении» (Бэн 1998: 130).

Способность метафоры формировать новые понятия посредством ассоциативного механизма отмечает В. Н. Телия. По мнению исследователя, метафора «способна служить средством получения нового знания, создавая мощное ассоциативное поле» (Телия 1988: 179).

Итак, апперцепирование новой информации происходит путём метафоризации на основе ассоциативных процессов.

Литература

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М: Языки русской культуры, 1999.

Арутюнова Н. Д. Языковая метафора // Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1979. С. 147-173.

Басилая А. Л. Семасиологический анализ бинарных метафорических словосочетаний. Тбилиси: из-во Тбилисского ун-та, 1971.

Бэн А. Психология // Бэн А., Эббингауз Э. Ассоциативная психология. М.: ООО АСТ-ЛТД, 1998.

Выготский Л. С. Мышление и речь. М: Лабиринт, 1996.

Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания, 1994, № 4. С. 34-47.

Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. В 2 ч. Ч. 1. Новосибирск: НГУ, 2003.

Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты. В 2 ч. Ч. 2. Новосибирск: НГУ, 2003.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём. М.: Едиториал УРСС, 2004.

Лузина Л. Г. Распределение информации в тексте: когнитивный и прагматический аспекты. М: ИНИОН РАН, 1996.

Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. М: Академия, 2002.

Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 416 с.

Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М: Прогресс, 1990. С. 358-388.

Пауль Г. Принципы истории языка. М: из-во иностранной лит-ры, 1960.

Потебня А. А. Мысль и язык. М: Лабиринт, 1999.

Рикёр П. Живая метафора // Теория метафоры. М: Прогресс, 1990. С. 435-455.

Рикёр П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение. // Теория метафоры. М: Прогресс, 1990. С. 416-434.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000.

Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб: Наука, 1993.

Слобин Д. Психолингвистика // Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М: Прогресс, 1976.

Телия В. Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. М.: Наука, 1988. С. 173-204.

© Юдина Н.А., 2007

Сведения об авторах

Будаев Эдуард Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии (Нижний Тагил).

Волчкова Ирина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории архитектуры и профессиональной коммуникации Уральской государственной архитектурно-художественной академии (Екатеринбург).

Воробьева Наталья Александровна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Гарипова Камилла Салаватовна – соискатель кафедры русского языка и общего языкознания и русского языка Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Горбань Виктория Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Одесского национального университета им. И.И.Мечникова (Одесса).

Гридина Татьяна Александровна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Доброва Галина Радмировна – доктор филологических наук, профессор кафедры детской речи Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург).

Иванилов Василий Михайлович – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Калужникова Татьяна Ивановна – доктор филологических наук, профессор Уральской государственной консерватории (Екатеринбург).

Коновалова Надежда Ильинична – кандидат филологических наук, профессор кафедры общего языкознания и русского языка, декан факультета русского языка и литературы Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Кусова Маргарита Львовна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка и методики его преподавания в начальных классах Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Лазарева Элла Александровна – доктор филологических наук, профессор кафедры теории архитектуры и профессиональной коммуникации Уральской государственной архитектурной академии (Екатеринбург).

Маркелова Татьяна Викторовна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка и стилистики, проректор по учебной работе Московского государственного университета печати (Москва).

Минюрова Светлана Алигарьевна – кандидат психологических наук, профессор, завкафедрой психологии развития, декан факультета психологии Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Нахимова Елена Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент социальной работы Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Петрушина Мария Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и стилистики Московского государственного университета печати (Москва).

Подольская Наталья Васильевна – магистрант кафедры русского языка Одесского национального университета им. И.И.Мечникова (Одесса).

Попова Татьяна Витальевна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка Уральского государственного технического университета – УПИ (Екатеринбург).

Рут Мария Эдуардовна – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка и общего языкознания и русского языка Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Химик Василий Васильевич – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка для иностранцев-нефилологов Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург).

Чудинов Анатолий Прокопьевич – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой риторики и межкультурной коммуникации, проректор по научной и инновационной деятельности Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Шарафутдинов Джалиль Рафаилович – кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка Уральского государственного университета им. А.М.Горького (Екатеринбург).

Юдина Наталия Александровна – аспирант кафедры немецкой филологии Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Оглавление

Будаев Э.В. , Чудинов А.П. «Metaphors We Live by» как прецедентное название …….....	3
Волчкова И.М., Лазарева Э.А. Конкретно-образная визуализация как свойство профессионального восприятия ……	15
Воробьева Н.А. Динамика сакрального в русской идиоматике: показания языкового сознания …….	20
Горбань В.В., Подольская Н.В. Гендерные особенности ассоциаций на соматизм ГЛАЗА …….	29
Гридина Т.А. Коммуникативные стратегии диалога «взрослый – ребенок»: факторы конструктивного речевого взаимодействия ...	36
Доброва Г.Р. Психолингвистические причины общности некоторых фактов детской речи и разговорной речи взрослых ……	50
Иванилов В.М. Народные снотолкования и приметы в аспекте их лингвокогнитивной природы и специфики восприятия ……..	67
Калужникова Т.И. Автобиографическая проза как материал для изучения спонтанного звукового поведения ребенка ……	80
Коновалова Н.И. Показания языкового сознания как компонент лексикографического представления сакрального текста …….	101
Кусова М.Л. О факторах, определяющих парадигматические связи слов в словаре младшего школьника …….	114
Маркелова Т.В., Петрушина М.В. Семантическая структура модального значения неодобрения как соотношение ментального, эмотивного, перцептивного, волитивного модусов ……..	121
Минюрова С.А. Модель стратегий личностно-профессионального саморазвития …….....	132
Нахимова Е.А. Детская литература как источник прецедентности (по материалам Интернета) …….....	143
Попова Т.В. Антропоориентированность функциональной грамматики: проект хрестоматии …….....	151
Рут М.Э., Гарипова К.С. Номинативная личность и социум …...	164
Химик В.В. Павел Александрович Лекант как	

лингвокультурологический дискурс ……...	172
Шарафутдинов Д.Р. О принципах применения синтетического подхода в грамматиках речевой деятельности ……...	180
Юдина Н.А. Понятие метафоры как ассоциативного процесса ……	184
Сведения об авторах ……...	193